

НОВАЯ ПОЛЬША

№11 (36)



2002

Чеслав Милош ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА
РАССКАЗЫ КОРНЕЛЯ ФИЛИПОВИЧА
Юзеф Чапский и Виктор Эрлих ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ
НАШИ ЛЮДИ Ариадна Герек-Лапинская
БЕСЕДА С ШЕВАХОМ ВЕЙСОМ
Стихи К.И. Галчинского в переводе Бродского
Кшиштоф Занусси, Ежи Плажевский, Анджей Вайда О ПОЛЬСКОМ ФИЛЬМЕ

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

НОВАЯ ПОЛЬША



№ 11(36)
2002
НОЯБРЬ

ISSN 1508-5589

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

	НАШИ ЛЮДИ	
	Чеслав Милош ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА	3
	Виктор Кулерский ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ	6
	НАШИ ЛЮДИ	
	«НЕТ, Я НЕ ДОЧЬ БРЕЖНЕВА»	13
	Ксения Старосенльская КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ	21
	Лешек Шаруга МЕЖДУ СТИХАМИ	21
	Корнель Филипович ЗАВТРА СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ	23
	Корнель Филипович МОЛИТВА НЕВЕРУЮЩЕГО	26
	Корнель Филипович СОВЕРШЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ	32
	Корнель Филипович ШАРОВАЯ МОЛНИЯ	34
	Корнель Филипович ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА	37
	Корнель Филипович СВЕТ И ЗВУК ИЛИ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МИРА	41
	Корнель Филипович МЕЖДУ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ...	44

KORNEL FILIPOWICZ



	Владислав Возневич ЧТО МЕШАЕТ НАШЕМУ ДИАЛОГУ?	45
	Яцек Мельхиор, Лукаш Радван РОССИЙСКОЕ – ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ	49
	Виктор Эрлих НЕМНОГО О СЕБЕ	51
	Виктор Эрлих АХМАТОВА О ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ	53
	Юзеф Чапский ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ	57
	БЫЛА БЫ ИДЕЯ Марта Микель, Изабелла Польковская ТРАКТОР И ФРАНЦУЗСКИЕ КРУЖЕВА	61
	Константы Ильдефонс Галчинский МАЛЕНЬКИЕ ЗАЛЫ	65
	Ирина Завиша и Якуб Садовский <i>Беседа с Анджеем Вайдой</i>	66
	ОФИЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ЭТО СЛИШКОМ МАЛО	68
	Януш Врублевский ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ	72
	Кшиштоф Занусси МОРАЛЬНЫЕ ДОСПЕХИ	74
	Иоанна Шведовска <i>беседа с Шевахом Вейсом</i> ЗЕМЛЯ И ТУЧИ	75
	Анджей де Лазари ПОЛЬСКАЯ ПУТАНИЦА С «РУССКИМ» И «РОССИЙСКИМ»	80
	Кшиштоф Бурнетко ЛЕВАЯ «Трибуна»	82
	Лешек Шаруга ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ	85
	Янина Куманецка ЛЕТОПРИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ Катажина Гарdziна I ВАРШАВСКИЙ ГЕНДЕЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ	88

Переводчики: А. Базилевский, Е. Барцова, А. Бондарев, И. Бродский, Д. Веденяпин, Н. Горбаневская, О. Картечко, Н. Кузнецов, М. Курганская, Г. Мурадян, Г. Погожева, А. Пустынничева, А. Ройтман, С. Свяцкий, С. Филиппак, Е. Шиманская, О. Чехова
 Фото ©: G. Celejewski Agencja Gazeta (стр. 21), Agencja Gazeta (стр. 75, 10, 28), Д.К. (стр. 88).

Редакционный совет

Стефан Братковский
 Хенрик Возняковский
 Наталья Горбаневская
 Ежи Ключовский
 Кароль Модзелевский
 Януш Тазбир
 Станислав Чёсек

Ежи Помяновский

(главный редактор)

Редколлегия

Наталья Горбаневская
 Никита Кузнецов
 Виктор Кулерский
 Янина Куманецкая
Петр Мицнер (зам. гл. редактора)
Кристина Пашек (секретариат)
 Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих (зам. гл. редактора)
Станислав Филипчак

(ответственный секретарь)

Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
 (главный художник)

Графика и макет

Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция

Кашпер Ванчик

Адрес редакции

Al. Niepodległości, 213
 02-086 Warszawa
 Ал. Неподлеглощи, 213
 02-086 Варшава

тел.: (0-22) 608 27 95; 608 25 65

факс: (0-22) 608 25 05; 608 27 96

e-mail: powpol@bp.org.pl

Информация о журнале для стран СНГ:

Издательство МИК, Москва,
 ул. Большая Переяславская,
 д. 15, кв. 49

тел.: 280-83-52

e-mail: mik@mecom.ru

тираж: 5 000 экз.

Издатель
ВИБЛИОТЕКА NARODOWA
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

По поручению
 Министерства Культуры
 Республики Польша



Чеслав Милош

Перевод
Анатолия Роймана

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

Стоя на плитах тротуара у входа в Аид,
Орфей ежился под порывистым ветром,
Который рвал его плащ, накатывал клубы мглы,
Метался в листьях деревьев. Огни автомобилей
С каждым наплывом мглы тускнели.

У застекленной двери задержался. Был не уверен,
Хватит ли сил ему для последнего испытанья.

Помнил ее слова: «Ты человек добрый».
Верил в это не слишком. Лирические поэты,
Знал он, имеют обычно ледяные сердца.
Это почти условие. Совершенство искусства
Получают взамен такого увечья.

Лишь ее любовь согревала, очеловечивала его.
Когда с нею был, он думал и о себе иначе.
Не мог ее подвести теперь, когда умерла.

Он толкнул дверь. Лабиринтом коридоров и лифтов
Шел. Синий свет был не светом, но мраком земным.
Электронные псы проносились без шелеста мимо.
Съезжал он, за этажом этаж, сто, триста, вниз.
Мерз. Сознавал, что оказался Нигде.
Под тысячами застывших столетий,
Где прах поколений истлевших,
Это царство, казалось, – без дна и без края.

Тени толпились. Их лица его окружали.
Некоторые узнавал. Чувствовал ритм своей крови.
Жизнь свою ощущал вместе с ее виною
И встретить боялся тех, которым зло причинил.
Но они утратили, видно, способность помнить.
Как бы глядели мимо, равнодушные ко всему.





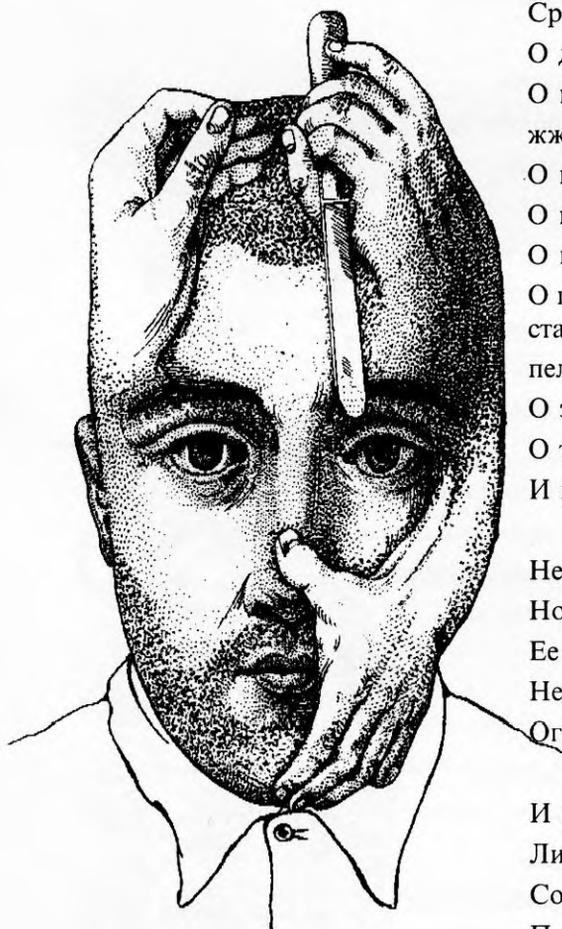
Защитой ему была девятиструнная лира,
В ней музыку нес земли против бездны,
Заваливающей тишиной звуки любые.
Музыка им владела. Тогда он лишался воли.
Подчинялся, заслушавшись, диктуемой песне.
Как его лира, он был лишь инструментом.

И он дошел до дворца властителей этой страны.
Персефона, в своем саду груш засохших и яблонь,
Черном от голых стволов и узловатых веток,
Трон ее – траурный аметист, ему внимала.

Пел он о ясности раннего утра, о реках
Среди зелени.
О дымной воде розоватых рассветов.
О красках: кармине, киновари,
жженой охре, лазури,
О наслаждении плавания в море у мраморных скал.
О пирушке в пути под шум рыбацкого порта.
О вкусе вина, миндаля, соли, оливок, горчицы.
О полете ласточки, сокола, о летящей с достоинством
стае
пеликанов над заливом.
О запахе охапки сирени под летним дождем,
О том, что свои слова он слагал против смерти
И ни единой рифмой не славил небытия.

Не знаю, сказала богиня, так ли ее любил ты,
Но прибыл даже сюда, чтобы ее спасти.
Ее тебе возвратят. Есть, однако, условие.
Нельзя тебе с ней говорить. И на обратном пути
Оглядываться, проверить, идет ли она за тобой.

И Гермес привел Эвридику.
Лица не узнать. Серое
Совершенно. Веки опущены,
Под ними тень ресниц.
Одеревенело движется, поводыря рукою
Ведома. Произнести ее имя желал он
Так сильно, ее пробудить от этого сна.
Но удержался, помня, что принял условие.





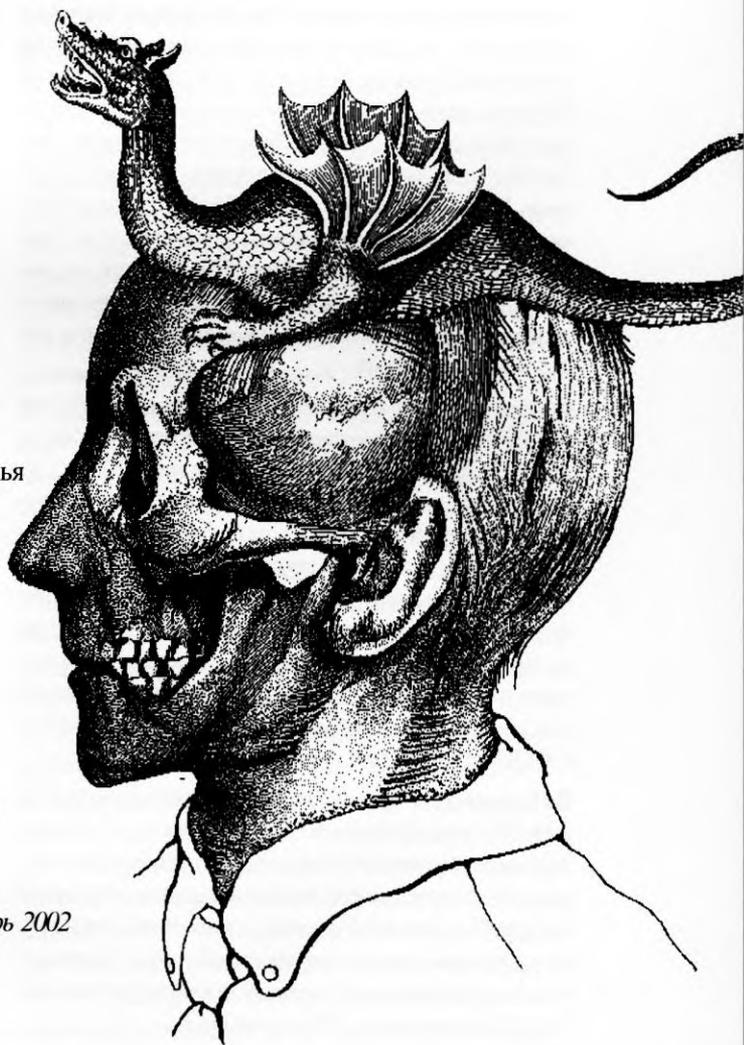
Двинулись. Он сперва, а за ним, но не сразу,
Стук сандалий его и дробный топот ее
Ног, как саваном, стянутых платьем.

Вверх крутая тропа фосфорическим светом светилась
В темноте, обступившей ее, словно стены туннеля.
Остановившись, вслушивался, но и они тоже
Останавливались тогда, и исчезало эхо.
Когда начинал идти, звучал их двухтактный отклик,
То ближе, казалось ему, то снова дальше.
Сквозь веру его прорастало
сомнение
И обвивало его, как холодный выюнок.
Не умеющий плакать, он рыдал над утратой
Людских надежд восстать из мертвых,
Ведь был он теперь, как любой смертный,
Лира его молчала и грезил он беззащитно.

Знал он, что нужно верить, и не умел верить.
И долго должна была длиться неверная явь
Своих же шагов, отсчитываемых в одеревененьи.

Рассвело. Под сияющим оком выхода из подземелья
Показались обломки скал. И произошло,
Как предчувствовал он. Когда повернул голову,
На тропинке за ним не было никого.

Солнце. И небо, а на нем облака.
Лишь теперь в нем кричало все: Эвридика!
Как буду жить, утешительница, без тебя!
Но пахли травы, длилось низкое пчел жужжание.
И заснул он, щекой на разогретой земле.



сентябрь 2002



Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

■ Министры обороны Польши и России Ежи Шмайзинский и Сергей Иванов присутствовали при подписании контракта между военным авиазаводом в Быдгоще и российским объединением МИГ. Контракт предполагает, в частности, сотрудничество при ремонте польских истребителей МиГ-29. До конца ноября польские и российские фирмы должны согласовать вопрос модернизации вертолетов Ми-24. После беседы с президентом Александром Квасневским и премьер-министром Лешекком Миллером Сергей Иванов встретился с полевым епископом Войска Польского Славом Лешекком Глудзем, чтобы обсудить вопрос пастырского служения в армии. В кафедральном соборе Войска Польского российский министр обороны зажег лампаду, сделал запись в памятной книге Катынской часовни, а также выслушал гимн России, исполненный на органе. (*«Жечпосполита»* и *«Газета wyborча»*, 27 сентября)

■ Из интервью с Сергеем Ивановым, прибывшим в Варшаву на совещание [министров обороны] стран НАТО: «Я уже был в Польше в 2000 г., за несколько дней до назначения министром обороны. Я знаю ситуацию. Если мы хотим предпринять конкретные шаги по возобновлению военнотехнического сотрудничества, то это возможно при одном условии: вы должны помнить, что Россия — правопреемница Советского Союза. Это означает, что она обладает всеми патентными и авторскими правами на оружие, произведенное в СССР». (*«Жечпосполита»*, 25 сентября)

■ Принимая в Кремле верительные грамоты посла Польской Республики в Москве Стефана Меллера, президент Владимир Путин высоко оценил «интенсивность политического диалога» между Польшей и Россией, а также подчеркнул, что Москва удовлетворена развитием экономических отношений между двумя странами. (*«Жечпосполита»*, 27 сентября)

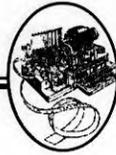
■ Польский экспорт в Россию растет в самом высоком за последние пять лет темпе: в течение пер-

вых семи месяцев 2002 г. на российский рынок поступило на 31,9% больше польских товаров, чем в прошлом году. Однако в списке экспортеров в Россию Польша занимает лишь 13-е место. (*«Ньюсуик-Польша»*, 29 сентября)

■ Директор польских Государственных архивов проф. Дарья Наленч сообщила, что Польша откроет российским историкам доступ ко всем документам, касающимся судьбы пленных солдат и офицеров Красной Армии после польско-большевистской войны 1920 года. Российские архивисты уже обсудили с дирекцией Государственных архивов круг предстоящих исследований. Директор Федеральной службы архивов России Владимир Козлов сказал, что до сих пор сотрудничество польских и российских ученых складывалось очень хорошо. Его плодом стало, в частности, издание третьего тома катынских документов, описывающего судьбы выживших. (*«Газета wyborча»*, 4 октября)

■ Российский замминистра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Владимир Григорьев: «После долгих лет перерыва в контактах польских и российских издателей наконец-то стали заметны первые признаки взаимного интереса и сотрудничества. Я буду добиваться того, чтобы Россия стала почетным гостем варшавской Международной книжной ярмарки 2004 года». На вопрос, что стало причиной этого потепления, Григорьев ответил на чистом польском: «Личные контакты президентов Квасневского и Путина». (*«Жечпосполита»* и *«Газета wyborча»*, 9 сентября)

■ Иркутский епископ Ежи Мазур обратил внимание на то, что, объясняя причины его высылки из России, российские власти распространяют противоречащие друг другу версии. Польскому МИДу они заявили, что возражения вызывает деятельность епископа как «высокопоставленного представителя Ватикана», а не как польского гражданина. При этом в письме Папе Иоанну Павлу II президент Владимир Пу-



тин подчеркнул, что католическая Церковь в России не подвергается никаким преследованиям. «Я верю Путину, — сказал епископ, — и считаю, что меня выслали из России не потому, что я епископ, а потому, что я поляк». (*«Жечпосполита», 25 сентября*)

■ Российская погранохрана не позволила вернуться в свои приходы о. Ярославу Вишневному (Сахалин) и о. Эдварду Мацкевичу (Ростовна-Дону). (*«Тыгодник повсехний», 22 сентября*)

■ Трое из пяти высланных за последнее время из России католических священников, приглашенных Епископатом России в соответствии с законодательством Российской Федерации и каноническим правом для осуществления пастырского служения, — граждане Польши, а значительная часть их прихожан — по происхождению поляки. (*«Жечпосполита», 13 сентября*)

■ Ян Зенюк, координатор усовершенствования подготовки православных учителей Закона Божьего в Польше: «Я против экуменических конкурсов. Однако есть группа священников, которые хотели бы делать все совместно с католиками: петь, рисовать, фотографировать (...) такого рода действия ведут к стиранию в сознании детей различий между Церквями». (*«Пшегленд православный», сентябрь, 2002*)

■ Согласно опросу Лаборатории социальных исследований (ЛСИ), 51% поляков опасаются российских инвестиций в Польше. Прежде всего поляки боятся: экономической зависимости от России (60%); отмывания «грязных денег» (38%); возможности возвращения в сферу политического влияния России (32%); роста активности русской мафии в Польше (32%). (*«Жечпосполита», 2 октября*)

■ Премьер-министр Лешек Миллер: «Огромной проблемой в польско-российских отношениях (...) остается газ, а также вопрос, удастся ли нам добиться пересмотра невыгодного договора, из-за которого у нас возникают излишки газа (...) Если наши [российские] партнеры согласятся внести в договор изменения, «Польская нефте- и газодобывающая промышленность» сможет быстрее и эффективнее сотрудничать с ними при строительстве второй нити Ямальского трубопровода, — а Россия заинтересована в этом». (*«Политика», 21 сентября*)

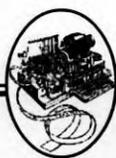
■ Идею строительства нефтепровода Одесса—Гданьск поддерживают самые высокопоставленные политики, в т.ч. президент и премьер. Между тем с экономической точки зрения этот проект довольно сомнителен. Кроме того, к нему причастны люди, чьи имена ассоциируются с экономическими аферами. Президент Александр Квасневский и премьер-министр Лешек Миллер поручили спецслужбам изучить ситуацию, сложившуюся вокруг нефтепровода. (*«Жечпосполита», 23 сентября*)

■ Посол Украины в Польше Александр Никоненко: «Строительство и совместная эксплуатация нефтепровода [Одесса—Гданьск] укрепит энергетическую безопасность и Польши, и Украины». (*«Газета wyborча», 2 октября*)

■ «Неожиданный приезд в Польшу [бывшего премьер-министра Украины Виктора Ющенко] может быть связан с последними событиями в украинской политике (...) До сих пор Ющенко очень осторожно критиковал президента Леонида Кучму и колебался, сотрудничать ли ему с оппозицией (...) или формировать парламентское большинство вместе с пропрезидентскими группировками. После его возвращения из Польши стало ясно, что он поддерживает оппозицию». (*«Жечпосполита», 25 сентября*)

■ Во время своего визита во Львов премьер-министр Лешек Миллер заявил о намерении организовать в Польше международную конференцию, посвященную будущему Украины. Приглашение на нее приняли и украинские власти (соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Анатолий Кинах), и оппозиция. Миллер сказал, что Польша «с озабоченностью наблюдает за конфликтом между властями и оппозицией», и подчеркнул, что «Украина не может себе позволить на полпути отказаться от курса реформ». (*«Жечпосполита», 5-6 октября*)

■ Президент Украины Леонид Кучма критически отнесся к польской инициативе организации в Варшаве украинского «круглого стола». «Это похоже на попытку вмешательства во внутренние дела Украины. Мы сами справимся, пусть нам не мешают. Нам не кажется, что это некая форма помощи», — заявил Кучма после телефонного разговора с президентом Польши. Сам Кучма не примет приглашения, однако он намерен отправить в Варшаву своего



представителя в лице главы президентской администрации Виктора Медведчука. Кроме того, на конференцию придут представитель ЕС по вопросам внешней политики Хавьер Солана и премьер-министр Швеции Йоран Перссон. (*«Жечпосполита», 9 октября*)

■ В Варшаве под покровительством президента Александра Квасневского и представителя Евросоюза по вопросам внешней политики Хавьера Соланы началась конференция «Украина в Европе», в которой участвуют представители украинских властей и оппозиции, а также политики из Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. На этой конференции представители украинского руководства и оппозиции впервые сели за один стол. Президент Украины Леонид Кучма направил президенту Польши письмо с благодарностью за организацию встречи, в котором, в частности, говорится: «Дорогой Александр, спасибо тебе за мудрое и взвешенное отношение к Украине». (*«Жечпосполита», Газета wyborcza», 16 октября*)

■ Сразу же после завершения двухдневной конференции «Украина в Европе» в Варшаву неожиданно прибыл президент Леонид Кучма. За несколько часов, проведенных в польской столице, он успел встретиться с президентом Александром Квасневским и Хавьером Соланой. Кучма отверг обвинения Соланы и премьера Швеции Йорана Перссона в недостатке демократии на Украине. По мнению президента Александра Квасневского, Кучма не может уйти в отставку под давлением уличных демонстраций. «Для этого существует процедура импичмента», — сказал Квасневский. (*«Жечпосполита», 17 октября*)

■ В конце конференции «Украина в Европе», посвященной диалогу между украинскими властями и оппозицией, слово взял представитель президента Кучмы Виктор Медведчук. «Успехом этой конференции стало то, что она положила начало диалогу между оппозицией и властью», — сказал он и пообещал, что подобные встречи будут продолжаться. Возможно, следующая встреча пройдет в Киеве, а после нее — в Брюсселе. «Грех было бы украинцам не продолжить эту инициативу», — заявил Медведчук, с которым, пожалуй, впервые согласились оппозиционные политики.

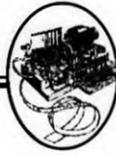
■ Из комментария Мартина Войцеховского: «Не смотря на все опасения сбылась польская мечта о том, чтобы украинское руководство начало го-

ворить с оппозицией о будущем страны в объединяющейся Европе. Обе стороны заявляют, что диалог с участием представителей Запада и Польши должен продолжаться (...) Однако президент Квасневский и премьер Миллер могут говорить об успехе уже сегодня. Польша пытается наводить мосты между Украиной и Европой, делиться опытом диалога. Сегодня помочь Украине в большей степени просто невозможно». (*«Газета wyborcza», 17 октября*)

■ Польское руководство стоит перед дилеммой: как совместить стратегическое партнерство с Украиной и союз с Соединенными Штатами? Речь идет, в частности, о подозрении, что Украина продала Ираку радиолокационную систему «Кольчуга». «Мы должны принимать во внимание то, как идут дела за нашей восточной границей. А идут они, к сожалению, не лучшим образом», — оценил сложившуюся ситуацию премьер-министр Лешек Миллер. Президент Александр Квасневский «надеется, что обвинения в продаже оружия Ираку не подтвердятся». А по мнению главы Бюро национальной безопасности Марека Сивеца, подозрение, что Украина продала Ираку «Кольчугу» — «главная причина утраты доверия к Украине». (*«Жечпосполита», 1 октября*)

■ Министр иностранных дел Владзимеж Цимошевич: «Мы разделяем мнение многих государств, что Ирак угрожает общей безопасности. Список нарушенных этой страной международных обязательств на редкость длинен. Как можно наивно надеяться, что случившееся один раз больше никогда не повторится? Нам не нужны никакие новые доказательства того, что Ирак обладает химическим и бактериологическим оружием». По словам Янины Парадовской, участвовавшей во встрече с министром в одном из краковских клубов, «самым неожиданным событием стало исполнение [Цимошевичем] одного из романсов Вертинского. Оказалось, что министр иностранных дел — поклонник творчества Вертинского (...) прекрасно знает слова, мелодию и имеет довольно неплохой голос». (*«Политика», 5 октября*)

■ В силезской местности Ламбиновице состоялось торжественное открытие кладбища жертв трудового лагеря для немцев, выселенных из Польши в 1945-1946 гг. В этой связи лидер не-



мецкого меньшинства в Польше депутат Генрих Кроль сказал: «Наконец-то после долгих лет молчания была сказана правда. Эта правда должна служить примирению, а не подсчету жертв с обеих сторон». На могильных плитах можно прочесть фамилии 1137 жертв лагеря. (*«Жечпосполита», 17 сентября*)

■ 128 танков «Леопард II-A-4» и несколько сот вспомогательных машин будут переданы Бундесвером Войску Польскому. Стоимость дара составляет около 1,5 млрд. злотых. Первая партия из 15 «Леопардов» уже включена в состав польской 10-й бронетанковой бригады. Президент Александр Квасневский, участвовавший в церемонии передачи танков, сказал, что это событие — «доказательство того, как сильно изменились польско-немецкие отношения». (*«Жечпосполита», 17 сентября*)

■ Среди стран Центральной и Восточной Европы Польша все еще занимает первое место по суммарной стоимости вложенного иностранного капитала. Однако в 2001 г. она стала одной из четырех стран с крупнейшим объемом непосредственных иностранных инвестиций, где их приток уменьшился. В Чехии и России приток новых инвестиций сохранился на уровне предыдущего года, а в Венгрии увеличился. (*«Жечпосполита», 18 сентября*)

■ Хромающая администрация, коррупция, слабо развитое сельское хозяйство и непомерно разросшаяся тяжелая промышленность — вот некоторые слабые стороны Польши. К ее сильным сторонам можно отнести снижающуюся инфляцию, все более крепкий частный сектор и стабильные политические структуры. Таковы выводы, сделанные Брюсселем в самом важном за время переговоров о принятии Польши в Евросоюз докладе. (*«Газета выборча», 4 октября*)

■ Премьер-министр Лешек Миллер: «Я разочарован невероятной инертностью всех административных структур — как центральных, так и местных. Нужно приложить огромные усилия, чтобы сдвинуть с места какое-либо дело, которое вдобавок приходится постоянно контролировать и оценивать». (*«Политика», 21 сентября*)

■ «Союз демократических левых сил» насчитывает 120 тыс. членов. Половина из них хотят стать депутатами местных органов самоуправления. В партии власти началась беспардонная борьба за

доступ к должностям». (*Мариуш Яницкий, «Политика», 14 сентября*)

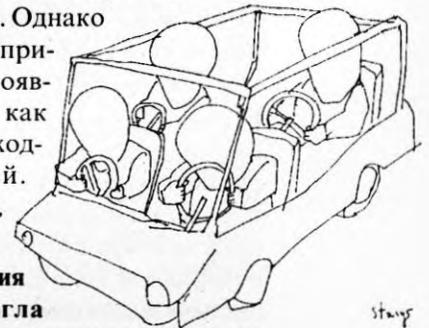
■ В первый год правления Лешека Миллера были заменены руководители 19 из 20 крупнейших фирм, контролируемых государством. Двадцатая фирма — это Польское телевидение, руководство которого предыдущему правительству в свое время не удалось сместить. Кроме того, в течение года были осуществлены кадровые перестановки в правлениях всех пяти банков, находящихся под контролем государства. Теоретически с развитием приватизации в экономике должно оставаться все меньше места для «своёв». Однако по мере того, как темп приватизации снижается, появляются все новые идеи, как раскрутить карусель доходных должностей. (*«Жечпосполита», 30 сентября*)

■ Европейская федерация журналистов подвергла польское правительство критике за то, что «Жечпосполита», «Газета выборча» и другие многотиражные газеты лишились возможности печатать правительственные объявления. Теперь эти объявления будут печататься в «Трибуне» — газете с небольшим тиражом, связанной с правящим СДЛС. (*«Жечпосполита», 10 сентября*)

■ «Смена начальства в зависимости от того, кто находится у власти, ставшая правилом на государственных предприятиях, — это полный абсурд с точки зрения принципов управления и эффективности функционирования фирмы. Этого нельзя объяснить ничем иным, кроме обыкновенного кумовства и желания обдѣлывать свои дела». (*Роман Пианьский, «Жечпосполита», 30 сентября*)

■ Станислав Лем: «Демократия предполагает существование гражданского общества, которое настолько прониклось ценностями, что на какие-то вещи просто неспособно. У нас же господствует убеждение, будто при демократии можно сказать, написать или, еще того хуже, сделать все что угодно». (*«Тыгодник повсехный», 6 октября*)

■ Збигнев Буяк из «Унии свободы» обещал не выставлять свою кандидатуру на президентских



312



выборах 2005 г., если он будет избран президентом (мэром) Варшавы. «Варшава заслуживает того, чтобы кандидаты на пост президента столицы не относились к ней как к промежуточной остановке в борьбе за руководство всей страной», — сказал Буяк. (*«Жечпосполита», 24 сентября*)

■ Проф. Януш Тазбир: «Демократия — это следствие ничем не стесненной политической жизни. Общество усваивает ее правила, возникает элита, способная вести явную и вразумительную парламентскую игру. Мы верили, что это произойдет сразу же после 1989 года. Прошло 13 лет, но ни понимания правил, ни этой самой элиты до сих пор не видно». (*«Газета wyborча», 20 сентября*)

■ Проф. Марек Белька, бывший министр финансов: «Жалуюсь на нашу политическую верхушку или на медленный темп реформ, мы должны сознавать, что наш медленный темп в несколько раз превышает мировые стандарты. Огромное цивилизационное отставание ставит перед нашим обществом задачи совершенно иного масштаба — в десять раз более сложные, чем в странах Западной Европы. Мы даже не отдаем себе отчета в том, сколь стремительны перемены, происходящие в нашей стране, и сколь велико давление на общество, которое, впрочем, проявляет исключительное терпение и понимание». (*«Жечпосполита», 10 сентября*)

■ С 1 октября поляки могут легально открывать банковские счета за границей. (*«Тыгодник повсехный», 6 октября*)

■ Сейм постановил, что обладатели состояния, превышающего 100 тыс. злотых, квартир полезной площадью свыше 70 кв. м и движимости, единичная стоимость которой превышает 10 тыс. злотых, должны будут представлять в налоговую инспекцию специальные имущественные декларации. (*«Тыгодник повсехный», 6 октября*)

■ Стоимость дневного рациона в Польше составляет: в больницах — 2,5-14,9 зл.; в тюрьмах — 4,2-5 зл.; в детских садах — 4,3-5 зл.; в детских домах — 4,65-7,5 зл.; в домах социальной опеки — 6-8 зл.; в санаториях — 6,5 зл.; в армии — 10-11 зл.; в домах отдыха — 13 зл. и выше; для спортсменов — 23 зл. и выше. (*«Политика», 14 сентября*)

■ Голосами правящей коалиции СДЛС-ПСЛ Сейм принял закон о налоговой аболиции. Утаенные до-

ходы можно будет легализовать, заплатив 12% ранее незадекларированной квоты. Новый закон не распространяется на лица, занимавшие высокие государственные должности в 1990-2002 гг. (*«Тыгодник повсехный», 6 октября*)

■ «Владельцы ветряных электростанций в отчаянии. «Сегодня ни одно энергетическое предприятие не купит электричества ни у одной ветряной электростанции. Мы производим энергию, но отдаем ее в сеть даром», — говорит Войцех Романишин, совладелец ветряной электростанции в Барзовицах мощностью 4,99 МВт. «Ежемесячно мы теряем около миллиона злотых», — говорит Петр Вишневецкий, владелец компании «Энергия-Эко», построившей в Тисове самую крупную в Польше ветряную электростанцию мощностью 19 МВт. — Мы производим энергию, платим налоги, проценты, а денег не получаем». (...) Представитель Европейского общества ветряной энергии (EWEA) Кристиан Кьяер утешает: «Вы не первая страна, где операторы энергосети пытаются вытеснить с рынка производителей ветряной электроэнергии». (*Кюрад Никевич, «Газета wyborча», 13 сентября*)

■ По данным Главного статистического управления (ГСУ), в Польше существует 36,5 тыс. обществ и 5 тыс. фондов. Из них активно действуют не более 25 тысяч. В фондах и обществах работают свыше миллиона поляков. Более половины из этих организаций не нанимают платного персонала. В 33% из них занято не более пяти человек. Лишь в 1% фондов и обществ занято свыше 50 человек — именно они и создают рынок труда в третьем секторе, составляющий приблизительно 100 тыс. человек. Это меньше 1% всего работающего населения Польши. В половине из этих организаций трудятся волонтеры. Слабый третий сектор отражает слабость государства. (*«Тыгодник повсехный», 6 октября*)

■ В 1998 и 1999 гг. бюджетные расходы на пенсии по инвалидности составляли в Польше 4,8% ВВП. Соответственно в Финляндии они составили 3,1, в Швейцарии — 2,9, в Великобритании — 2,7, в Германии — 1,4, во Франции — 1,1, в США — 0,9%. (*«Впрост», 15 сентября*)

■ По мнению Совета монетарной политики (СМП), проект бюджета на 2003 г. не способствует



реализации целей, заявленных правительством. К таким целям относятся действия, ведущие к устойчивому улучшению состояния государственных финансов, создание условий для постоянного экономического роста и борьба с безработицей. СМП считает, что «отход от обещанной правительством стратегии контроля над бюджетным дефицитом посредством ограничения динамики расходов в долгосрочной перспективе подорвет доверие к фискальной политике», в связи с чем СМП «будет принимать решения, касающиеся монетарной политики, исходя из действительного хода фискальной политики, а не из правительственных прогнозов экономического дефицита». (*«Газета wyborча»*, 5-6 октября)

■ «Проект бюджета на 2003 г. свидетельствует о том, что замена Марека Бельки Гжегожем Колодко означает гораздо более глубокие изменения в экономической политике, чем обещали политики СДЛС и ПСЛ. Прежний министр финансов считал, что экономические трудности и неуверенность в будущем требуют сдержанности в обещаниях (...) Колодко светится оптимизмом, однако оптимизм этот зиждется на шатких основах (...) Пессимизм Бельки позволял быть умеренными оптимистами и рассчитывать, что в ближайшие годы бюджетный дефицит снизится. Оптимизм Колодко ведет польскую экономику неизвестно куда». (*Витольд Гадамский*, *«Газета wyborча»*, 21-22 сентября)

■ «Эксперты довольно единодушны: Гжегож Колодко наверняка эффективен в качестве министра пропаганды». (*Иоанна Сольская*, *«Политика»*, 5 октября)

■ Станислав Лем: «[Владислав] Бартошевский считает, что [Лешек] Бальцерович и его монетаризм — основа нашей экономики. Но вот появляется статья человека с безупречным прошлым, а именно [Яцека] Куроня, который пишет: «Я поддерживал Бальцеровича, и это был мой величайший грех». Даже не знаю, что и сказать...» (*«Тыгодник повсехный»*, 6 октября)

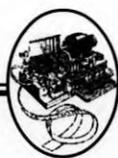
■ Проф. Ян Воленский, философ из краковского Ягеллонского университета: «Нет смысла говорить о людях глупых. Гораздо более интересны действия, высказывания и решения, заслуживающие того, чтобы называться глупыми, но принадлежащие людям, которых не всегда можно подозревать во врожденной глупости». (*«Тыгодник повсехный»*, 22 сентября)

■ Тот же проф. Ян Воленский: «Было бы неплохо, если бы образование поляков выглядело совсем по-другому. Исследования показывают, что по умению решать математические задачи и способности понимать текст польская молодежь находится на одном из последних мест в Европе (...) Еще более неутешительны результаты изучения шансов поляков найти работу за границей. Проблема заключается не в том, что у поляков более низкий уровень профессиональной подготовки, а в том, что они хуже приспосабливаются к новым условиям работы, необходимости смены профессии или места работы, с трудом принимают решения. Причины кроются и в том, что у поляков нет солидного общего образования. Именно оно обеспечивает интеллектуальную, а значит, и жизненную мобильность». (*«Тыгодник повсехный»*, 22 сентября)

■ 51,2% польских учащихся изучают английский язык, 30,9% — немецкий, 11,7% — русский. Следующие места занимают французский, итальянский, латынь и испанский. (*«Политика»*, 14 сентября)

■ Из доклада Европейского центра по правам цыган: «В Польше цыгане часто становятся жертвами насилия на почве расовых предрассудков. В результате многие из них живут в атмосфере страха, пронизывающей все сферы их жизни — от контактов с властями до доступа к общественным должностям и службам. Это сказывается и на их полноценном участии в жизни местных сообществ». С выводами доклада не согласны ни представитель по гражданским правам, ни министерство внутренних дел и администрации. В Польше живут 20-30 тыс. цыган. (*«Газета wyborча»*, 13 сентября)

■ В церковной книжной лавке в центре Варшавы, расположенной на территории, где в годы войны было гетто, продаются антисемитские книги и брошюры. Верующие Варшавской епархии уже несколько месяцев протестуют — пока безрезультатно. 27 мая прошлого года именно в этой церкви примас Глемп вместе с другими пятидесятью епископами просил прощения у евреев за преступление, совершенное в 1941 г. в Едвабне, «где жертвами стали евреи, а среди виновников были поляки и католики». (*«Жечпосполита»*, 2 октября)



■ «Ненависть, расизм и антисемитизм объединяют людей самых разных национальностей в своего рода взбесившийся интернационал (...) В Польше лишь немногие обращают внимание на то, какие гадости изрыгают ежедневно различные деятели — взять хотя бы «Самооборону» (...) Хотя зло, которое легко заметить и различить, выглядит эффектно и пугающе, оно наименее опасно (...) Намного больше я опасуюсь простых, спокойных людей, поддерживающих «Самооборону» и другие подобные партии в разных концах Европы. Я не в силах различить их в толпе и не знаю, как их назвать. Они не образуют сплоченной группы, у них нет общих взглядов. Они незаметны, а об их существовании мы узнаём, только когда они голосят (...) Настоящая угроза все еще скрывается под покровом нашего неведения». (Марек Бейлин, «Газета wyborcza», 3 октября)

■ «Директор «Радио Мария» уже практически стал главой альтернативной Церкви. Тадеуш Рьдзик побеждает, потому что он сильный харизматический лидер и талантливый менеджер. Примас Юзеф Глемп не обладает ни одним из этих качеств. Рьдзик — воплощение энергии и напора, о чем свидетельствуют 4–5 миллионов его сторонников и полтора десятка динамичных организаций, основанных им за последние годы. У него есть радио, которое слушают почти 14% взрослых поляков, и газета «Наш зденник». Наконец, у него есть собственные депутаты и сенаторы (около 20-ти) (...) В передачах «Радио Мария» Рьдзик ясно определил врагов — это масоны, евреи, [политическая] верхушка, епископы и священники, поддерживающие нововведения, а также богачи (...) Рьдзика поддерживают почти 15% польских католиков». (Богуслав Мазур, «Впрост», 15 сентября)

■ «Спор о Тадеуша Рьдзика и кардинала Юзефа Глемпа нельзя рассматривать в категориях игры амбиций (...) Это открытая бескомпромиссная борьба за души, решающая судьбу польской Церкви. Рьдзик олицетворяет Церковь страхов и разочарований — замкнутую в себе, не доверяющую миру (...) Примас выбрал такую Церковь, в которой нуждается Польша и объединяющаяся Европа. И именно такую Церковь он хочет строить». (Михал Карановский и Шимон Холоня, «Ньюсуик-Польша», 15 сентября)

■ Из пастырского послания Виктора Скворца, епископа Тарнувского: «Нельзя использовать леса, реки и ручьи, долины и овраги в качестве свалки. Вывозя туда мусор и отходы, мы совершаем грех». («Тыгодник повсехный», 6 октября)

■ Богуслав Павловский из Варшавского университета во время VI Фестиваля науки: «В нас должно быть больше смирения перед природой. Не будем затапывать эту землю, покорять ее, и не будем так гордиться тем, кто мы, — таким образом мы лишь навредим и планете, и самим себе». («Газета wyborcza», 2 октября)

■ Приютам для бездомных животных не хватает денег на отопление, электричество, лекарства. Между тем начали действовать новые правила, разрешающие охотникам стрелять в собак и кошек. В подваршавском Юзефове уже была смертельно ранена собака, гулявшая на лугу. Это показывает, как будет действовать закон. Тем временем в Белостоке идет суд над работниками городского приюта для животных. В течение года они убили почти 600 собак — около 70% всех попадавших в приют. За каждую принятую собаку приют получал 300 злотых, после чего собаку тут же умерщвляли. В Сувалках усыпляют 80% животных, попадающих в приюты, в Августове — более 90%. Факты массового убоя животных подтверждает доклад, подготовленный по распоряжению главного ветеринара страны. («Газета wyborcza», 1 октября)

■ Два дня продолжалась в Варшаве операция по спасению котенка, упавшего в канализационный люк, застрявшего в трубе и просидевшего четыре дня под бетонной мостовой на глубине двух метров. Рабочие разбили бетон, выкопали траншею и разрезали трубы, однако, это не принесло результатов. В конце концов полиция заблокировала улицу, бригада «Городского водоканала» спустилась в канализацию, чтобы найти и взять под наблюдение выход из трубы, а пожарные вкачали в трубу 2,5 тонны воды под давлением 3 атмосферы. В канализации выброшенного водой малыша перехватили работники водоканала. Котенок выжил. После капельницы с глюкозой и серии уколов с антибиотиками его взяла к себе одна из семей, живущих в доме, возле которого разыгрались эти события. («Газета wyborcza», 12 сентября)



«НЕТ, Я НЕ ДОЧЬ БРЕЖНЕВА»

Беседа с офтальмологом проф. Ариадной Герек-Лапинской

— *Все о вас сплетничают...*

— Ну что ж, я тридцать лет над этим трудилась.

— *Правда ли, что вы дочь Брежневая?*

— Эта сплетня появилась в 1980 году, когда моего свекра сняли с должности. Школьные подруги знали, что это неправда, но и они были убеждены, что Брежнев нас удочерил — меня и мою сестру Татьяну, которая младше меня на четыре года.

— *Вы говорите по-русски?*

— Плохо.

— *Но с Брежневым вы были знакомы?*

— Когда свекор был первым секретарем ЦК ПОРП, мы каждый год ездили в Крым. И только один раз Брежнев пригласил нас со свекром в свою резиденцию на ужин. Я о нем мало что могу сказать, потому что сотрудники протокольного отдела предупредили нас, что сопровождающие лица должны помалкивать. Визит был коротким. На столе стояли закуски, потом официанты принесли суп, второе, коньячок — и все. Мы поужинали и уехали.

— *Вы часто ездили в Крым?*

— К сожалению, да.

— *К сожалению?*

— Когда человек уже пятнадцатый раз ездит в одно и то же место и живет в той же самой комнате, то ему это вполне может надоесть. Пляж был каменистый, вода у берега - глубокая, так что детишкам особенно не порезвиться. Да и комнаты в смысле комфорта были так себе.

— *Кто там еще бывал?*

— Мы там ни с кем не виделись. Целых две недели мы проводили вместе с моей сестрой (она вышла замуж за Ежи, младшего сына Герека), с нашими детьми, мужьями и их родителями.

— *Вы ведь не обязаны были туда ездить...*

— Это было неписаное правило.



— *А в Грецию, например, вы поехать не могли?*

— У меня не было заграничного паспорта.

— *Как так? Люди говорили, что ваша свекровь на каждые выходные летала в Париж, чтобы сделать себе там прическу.*

— Нет, не летала.

— *А чья же вы тогда дочь?*

— Теодора Занковича и его жены Клары, урожденной Фальковской. Я родилась в Вильнюсе. Отец там преподавал агрономию в Университете им. Стефана Батория. После войны мы переехали в Катовице и начали жить в однокомнатной квартирке на улице Шопена. Отец получил работу в союзе кооперативов «Крестьянская взаимопомощь», а мама работала бухгалтером на молокозаводе. Я вообще родом из бедной семьи.

— *Мы слышали, что в молодости вы были очень красивы...*



— Ну что ж, выглядела я лучше, чем теперь, но все равно у меня были комплексы. Подружки одевались по последней моде, а мои родители не могли себе этого позволить. К тому же с нами жила бабушка, которая постоянно делала мне замечания. Например, она говорила, что девушка из приличной семьи не должна так широко шагать.

— Где вы познакомились с Адамом Герекком?

— В лицее №2 Общества помощи детям в Катовице — впоследствии лицее им. Вильгельма Пика. Он учился в параллельном классе и сидел за одной партой с моим теперешним, третьим мужем — Тадеушем Лапинским. В школе мы с Адамом были просто товарищами. Меня мальчишки не интересовали, я очень много занималась, чтобы поступить в институт. Я хотела получить профессию, которая позволит зарабатывать приличные деньги. Я была уверена, что молодые люди раньше или позже сами появятся.

— Почему вы выбрали медицину?

— Я хотела поступать в Академию художеств, но отец мне это из головы выбил. Он считал, что врач — это профессия, благодаря которой я никогда не буду голодать. И был прав. Когда пришло время выбирать специализацию, папа велел мне выписать на бумажке самые дефицитные специальности в медицине. Я написала: анестезиология, хирургия, офтальмология. Терапия меня вообще не привлекала, так что анестезиология отпала. Для того чтобы быть хирургом, я была слишком слаба физически. Так что осталась только офтальмология. Это трудная специализация: нельзя внушить пациенту, что он хорошо видит. Здесь больной сразу оценивает врача.

— В институте вы познакомились с вашим первым мужем Ярославом Чаплицким.

— На медицинском факультете в Забже он преподавал гистопатологию. Это был единственный экзамен, который я завалила.

— Вы в него были влюблены или просто решились все-таки сдать этот самый экзамен?

— Я хотела как можно скорее покинуть родительский дом и почувствовать себя свободной. Признаюсь, это было необдуманное решение.

— Сколько времени продолжался этот брак?

— Семь месяцев. Он был влюблен в другую, а я должна была стать лекарством от этой любви.

— И тогда вы встретились с Адамом Герекком?

— Да что вы! С Адамом я встретила на трамвайной остановке в 1963 году. Я к тому времени уже три года как развелась с Яреком. Я ехала на садовый участок, чтобы покормить собаку, и мы разговорились.

— Его отец Эдвард Герек уже тогда занимал высокое положение?

— Он был первым секретарем воеводского комитета ПОРП в Катовице.

— И вам это imponировало?

— Меня это не интересовало. Я даже не представляла себе, чем занимается секретарь обкома.

— И как семья Гереков вас приняла?

— Обыкновенно. Я свекра очень уважала. Он был умным, трудолюбивым и очень доброжелательным. Он никогда ничего такого не сделал, что бы меня задело. Я ни разу не слышала, чтобы он когда-нибудь повысил голос. Людям он меня представлял как свою дочь. Его жену я называла мамой, его — папой.

— Как жила семья Гереков?

— По-моему, скромно. В те времена первый секретарь ЦК, премьер-министр и председатель Госсовета не платили за еду и служебную одежду. Должно быть, к этой одежде относились только костюмы, рубашки и галстуки, потому что белье покупала свекровь. А в Катовице они жили в районе Брынув, в таком домике без погреба, через стену с соседями. Потом уже они построили себе новый дом на улице Ружицкого, в том же районе. Большой дом, с садом.

— Вы ощущали то благосостояние, которое на вас свалилось вместе с фамилией?

— На свадьбу родители Адама подарили нам квартиру в многоэтажном доме на Сокольской улице. Вице-премьер Тадеуш Пыка помог купить малолитражный Фиат, а потом мы получили талон на право приобрести «Ладу». Во всем остальном с фамилией были связаны скорее разрывные ограничения. Я тогда возглавляла кафедру офтальмологии. Мои сотрудники ездили на Запад, а я — нет. Свекор был бы недоволен,



если бы я поехала в ФРГ, потому что политические отношения с Германией не были слишком теплыми.

— *Но вы все-таки ездили на Запад?*

— Раз в полтора года. Свекор на это довольно резко реагировал. Он очень следил за тем, чтобы никто не мог сказать, что он использует свое положение в личных целях. Уверяю вас, на эти поездки не было потрачено ни гроша государственных денег.

— *До сих пор ходят легенды о медицинском оборудовании, которое для вас покупал Герек.*

— Меня раздражало, когда я слышала, что всем обязана свекру. Я тогда задавала вопрос: а больных оперирую я или тоже Эдвард Герек? Он ничего мне не покупал, я сама все добывала. Правда, надо признать, что многие предприятия охотно покровительствовали нашей клинике. Я с ними подписывала специальные соглашения, и любого работника такого предприятия вместе с членами его семьи мы брали в клинику без очереди. Я прекрасно понимала, что если какой-нибудь директор хочет для нас что-то приобрести, то он имеет право и получить что-то взамен. Я всегда могла рассчитывать на «Стальэкспорт», «Центрозап» или «Углекок».

— *И что же они приобретали?*

— Например, микроскоп для глазных операций, из-за которого потом был скандал в газетах. Меня упрекали, что микроскоп получила я, а не кто-то другой.

— *Вы пользовались своим положением, чтобы достать это оборудование?*

— Я никогда не просила, чтобы помогли мне, — всегда речь шла только о клинике.

— *Часто ли к вам обращались с просьбой составить протекцию у свекра?*

— Никогда.

— *Как вы стали директором офтальмологической клиники?*

— Эту клинику возглавлял профессор Мариан Мондрожкевич, который жил в Кракове и в Катовице приезжал раз в два-три месяца. Когда в 1965 г. я защитила диссертацию, он позвонил мне и сказал, что когда-нибудь я все равно стану руководить клиникой, так что лучше мне сразу туда перейти на работу. Но тут возникла одна трудность.

Там работал мой первый муж Ярек Чаплицкий, а Адам Герек ни в какую не соглашался, чтобы мы работали вместе. Профессор Мондрожкевич тогда очень хотел получить кавалерский крест [ордена Возрождения Польши], потому что это давало ему надбавку к пенсии в размере 30%. И он мне пообещал, что если я ему в этом посодействую, то Ярек уйдет из клиники. Он получил свой орден, а я — место в клинике. В 1974 г. я возглавила офтальмологическую клинику в Катовице.

— *А потом свекор устроил вам поездку в Москву...*

— В 1976 г. он собирался в Москву, и я спросила, нельзя ли полететь вместе с ним. Я хотела посетить клинику известного окулиста проф. Михаила Краснова. Я хорошо знала его работы. Его отец тоже был известным окулистом, он специализировался в хирургическом лечении глаукомы. Для меня это была легендарная личность. А в Москве оказалось, что моя переводчица была пациенткой профессора Святослава Федорова, и она меня уговорила, чтобы мы к нему поехали. Там я впервые увидела, что такое микрохирургия глаза. Это была просто фантастика, у нас в Польше об этом никто и не мечтал.

Мы договорились о научном обмене. Почти все мои ассистенты поехали на стажировку к Федорову, и он со своими сотрудниками приезжал к нам. Для него такая поездка была очень заманчива. Он всегда звонил заранее и просил, чтобы я достала ему сертификаты, которыми расплачивались в специальных валютных магазинах. Там он покупал кожаные куртки, косметику и джинсы. А когда мы приезжали в Москву, он мне отдавал долг рублями. Все было очень мило: мы жили в приличной гостинице, утром за нами присылали машину скорой помощи, а вечером приглашали в театр или на балет.

— *После возвращения из Москвы вы в своей клинике начали заниматься микрохирургией глаза. Как на это отреагировали ваши сотрудники?*

— Я ничего мнения не спрашивала. Просто объявила, что мы покупаем микроскопы. Мы провели капитальный ремонт операционного блока и изменили методику операций. С макрохирургии глаза перешли на микрохирургию. Несколько сотрудников, старше меня по воз-



расту, уволились, потому что им было трудно перестроиться.

— *А до этого как у вас оперировали?*

— Возьмем, к примеру, самую распространенную операцию — удаление катаракты. До эпохи микроскопов это была довольно рискованная операция. Помутневший хрусталик просто выдавливали из внутренней части глаза, что было довольно грубым вмешательством. В клиниках с более высокой репутацией применяли методику криоэкстракции, разработанную выдающимся польским офтальмологом профессором Тадеушем Крвавичем и введенную в практику в конце 60-х. Глубоко охлажденный конец инструмента прикладывали к хрусталику, при этом нужно было отвести шпателем радужную оболочку и удалить помутневший хрусталик. Это была революция в офтальмологии. При использовании прежней методики пациент должен был лежать пять-шесть дней без движения, с обоими заклеенными глазами. Дело в том, что когда человек шевелит одним веком, то одновременно он шевелит и другим. И если пациент не двигался, то глаз быстрее заживал. После введения микрохирургии все изменилось. Глаз у пациента остается закрытым только в день операции, и при этом он может ходить. На следующий день мы снимаем повязку. Больные прекрасно видят, хорошо читают и возвращаются из больницы домой. Это невообразимый прогресс. Сегодня удаление катаракты — это операция одного дня.

— *Что было самой крупной революцией в офтальмологии?*

— Пересадка внутриглазного хрусталика и пришивание радужной оболочки — обе эти операции были начаты в Польше в 1976 году. Это позволило воссоздавать посттравматические потери радужной оболочки, а также проводить ее надрезы и разрезы, зачастую необходимые при удалении осложненных катаракт, после чего вновь ее сшивать.

— *Для чего делают пересадку хрусталика?*

— Если у пациента удалить помутневший хрусталик и не заменить его пересаженным, то он утратит остроту зрения, и нужно будет прописывать ему очки со стеклами +10 и больше. Поэтому можно рассчитать преломляющую силу хрусталика и на место удаленного пересадить искусственный. Благодаря этому пациенту будет возвращено нормальное зрение.

— *Какие еще нерешенные проблемы существуют в офтальмологии?*

— В последнее время ведутся работы над микропроцессором, который можно было бы вживлять больным с атрофией зрительного нерва. Тогда человек сможет различать оттенки серого цвета и даже видеть черно-белое изображение. Однако здесь замалчивается очень важная вещь. Чтобы пациент мог видеть, зрительный нерв должен проводить импульсы в затылочную долю головного мозга. Если нерв поврежден или, например, у пациента опухоль гипофиза, то сделать ничего не удастся.

— *Другими словами, нет шансов создать искусственный глаз?*

— Я в это не верю. Зрительный нерв состоит примерно из миллиона нервных волокон, которые представляют собой отростки нервных клеток сетчатки. Никто в мире не в состоянии соединить на операционном столе миллионы нервных клеток. Кроме того, эти клетки не регенерируются. Быть может, удастся сконструировать искусственный глаз, который будет действовать по принципу фотоаппарата, но изображение в лучшем случае будет черно-белым. О цвете можно забыть. Человеческий глаз нельзя заменить ничем, по крайней мере при теперешнем уровне науки.

— *Заботятся ли поляки о своих глазах?*

— Тут мы ничем не отличаемся от всего остального мира. Самое важное — это добиться, чтобы больные диабетом как можно раньше попадали к окулисту, который оценит состояние их глазного дна. Диабет — основная причина слепоты.

— *А не вредны ли для глаз компьютеры?*

— Нет, испускаемое компьютерными экранами излучение только иссушает роговицу. Нужно просто купить в аптеке искусственные слезы в виде капель или геля и пользоваться ими при появлении первых неприятных симптомов, таких, как опухшие веки, ощущение сухости в глазах, трудности с закрытием век. Я всячески настаиваю, чтобы родители не разрешали детям спать при включенном свете. Я считаю, что это приводит к патологическому разрастанию глазного яблока и ускоряет появление близорукости.

— В каком направлении, по вашему мнению, будет развиваться офтальмология?



— Мы по-прежнему лечим состояния со значительными изменениями тканей, например, катаракты, тогда как будущее принадлежит профилактике. Быть может, когда-нибудь мы будем проводить исследования на молекулярном уровне и вмешиваться уже в тот момент, когда болезнь только начнет развиваться в клетках. Я до этого времени наверняка не доживу.

— *Какие операции были невозможны еще 20 лет назад?*

— Когда-то нельзя было даже представить себе возможность проведения так называемых витреоретинальных операций, то есть удаления изменений в стекловидном теле глаза в задней части глазного яблока. Правда, в 1978 г. мы демонстрировали эту операцию на конгрессе окулистов в Катовице, но при этом использовали совершенно иную методику. Теперь мы применяем специальный лазер, рабочий элемент которого не только вырезает патологические разрастания, но и закупоривает кровеносные сосуды, что позволяет остановить кровотечение.

Теперь у нас огромные возможности. Мы используем лазеры, которые вводятся внутрь глазного яблока. Это даже трудно сравнить с первыми операциями подобного типа.

— *Скажите, несмотря на весь этот технический прогресс, чувствуете ли вы себя иногда бессильной?*

— Я всегда говорю пациенту, что мы можем сделать. Если у него только один глаз, он должен знать, что даже малейшее вмешательство может привести к осложнениям. Поэтому самое главное — это диагностические исследования, проводящиеся перед операцией. Только тогда у нас появляется возможность сообщить больному о риске, с которым связана операция. Я помню одного мужчину, которому я пересаживала хрусталик. Его слишком рано вывели из наркоза, началось кровотечение, и зрение к нему не вернулось. Хотя это произошло 25 лет назад, я помню эту операцию и сейчас.

— *Существуют ли такие операции глаз, которых в Катовице не делают?*

— Нет, у нас нет никаких комплексов.

— *У вас в клинике просто толпы пациентов.*

— Да. К примеру, в прошлый вторник мы провели 720 консультаций.

— *Каково сегодня ваше положение в среде польских офтальмологов?*

— Весьма высокое. Сотрудникам я говорю, что мы должны делать свое дело, несмотря ни на какие обстоятельства, — только тогда у нас есть



шанс быть самыми лучшими. И мы ими остаемся.

— *У вас репутация царицы польской офтальмологии, властной, суровой личности, с которой лучше быть в хороших отношениях...*

— Для меня всегда было важно достичь высокого положения в своей профессии и не зависеть от чужих прихотей. Да, я деспотична, я требую от врачей глубоких знаний в своей профессии. Без этого наша клиника давно бы развалилась. Впрочем, многие только и ждали такого конца, но я никогда этого не допущу. Врачи здесь ощущают стабильность своего положения, каждый получает максимальную ставку. В прошлом году мы выплатили нашим сотрудникам по две дополнительных зарплаты. По 500 злотых на Пасху, и по 700 — на Рождество. Я не думаю, что кто-нибудь считает меня плохим директором. Когда началась реформа системы здравоохранения, я втолковала сотрудникам, что самое главное — пациент. И если они устали и кричат на больных, то пусть себе представят, что теряют и «пасхальные», и «рождественские», и премиальные. Они всё поняли, и жалоб от пациентов практически нет.



— *Говорят, что если вы кого-то невзлюбили, то он может собирать чемодан и бежать как можно дальше.*

— Неправда! Так поступают те, кто боится конкуренции. А кто может угрожать моему положению? У меня сейчас 49 аспирантов. Они растут, ездят за границу на симпозиумы. Я не слышала, чтобы кто-то жаловался.

— *Наверно, никто бы и не осмелился. Вы считаете, что должны знать обо всем, что происходит в клинике?*

— Директор единолично отвечает за всю клинику. Даже за то, что говорит тот или иной сотрудник вне ее стен. Это правда: здесь без моего ведома никто не осмелится высказаться, например, в печати. С другой стороны, все знают, что могут на меня рассчитывать. Я врачам помогаю. Чтобы начать аспирантуру, они должны из своего кармана заплатить институту 5-6 тысяч злотых. Поэтому я подписываю с ними договор. Клиника покрывает эти расходы, а они за это обязуются отработать у нас пять лет. В ситуации, когда деньги приходят вслед за пациентом, мы можем себе это позволить.

— *Вы сильная личность, а такие люди обычно не терпят рядом с собой тех, у кого есть свое лицо.*

— А может, я просто могу себе позволить такую роскошь, как говорить любому все, что я думаю? В любой момент я могу уйти на пенсию, наша клиника — лучшая среди всех офтальмологических учреждений в стране, а за границей нас знают даже лучше, чем в Польше.

— *Где, кроме Катовице, есть еще хорошая клиника, где можно лечить глаза?*

— В варшавской клинике профессора Тадеуша Кенцика прекрасно делают операции с использованием лазера. Профессор Анджей Станкевич из Варшавы проводит операции по коррекции недостатков зрения с помощью лазера. Наши клиники — единственные, которые проводят эти операции в рамках системы медицинского страхования. Быдгощская клиника благодаря профессору Юзефу Калужному прославилась хирургическим лечением катаракты. Профессора Ханна Мария Нижанковская из Вроцлава, Кристина Чехович-Яницкая из Варшавы и Януш Чайковский из Лодзи специализируются в лечении глаукомы.

Прекрасный специалист в области электрофизиологии — профессор Ольгерд Паляч из Щецина. Но наибольшие заслуги в подготовке польских окулистов имеет профессор Роман Гось из Военно-медицинской академии в Лодзи.

— *А в Силезии где еще можно лечиться?*

— Везде (улыбается), где есть хорошее глазное отделение.

— *И где же оно есть?*

— Здесь.

— *А как зародилась идея создания офтальмологической клиники при Силезской медицинской академии на Цегляной улице?*

— В конце 70-х годов меня уговаривал сделать это министр здравоохранения Мариан Сливинский. Предполагалось, что клиника будет размещаться в Центральной клинической больнице в катовицком районе Лиготе. Но я хотела работать отдельно, ближе к центру города, в связи со спецификой глазных заболеваний. Из центра сюда можно доехать на трамвае или на автобусе. На территории, где сейчас располагается больница, раньше располагалась старая шахта. Никто не хотел здесь строиться, поэтому получить разрешение было нетрудно. В 1978 г. началось строительство. Свекор в это не вмешивался, но после того, как его отстранили от власти, все застопорилось. Начались разные интриги, как бы тут что-нибудь разместить в этом здании, только не глазную клинику. Здание начало приходить в упадок. В конце 1988 г. нашлись деньги, и строительство вновь оживило. Первым директором строящейся больницы был профессор Шафлик. Потом он выиграл конкурс на должность ординатора отделения в Сосновце и уволился. Я заменила его на этой должности, и так все продолжается по сей день.

— *Досужие языки говорят, что вы расстались с Адамом Герекком после того, как сняли с должности его отца.*

— Это неправда! Мы с Адамом развелись в 1984 г. по несходству характеров. Впрочем, я предупредила свекра, что если Адам не изменится, то я с ним разведусь. А он думал, что я шучу.

Теперь у Адама тоже новая семья и он вполне счастлив.

— *Вы помните объявление военного положения?*



— Около 4 часов утра 13 декабря 1981 года у нас дома зазвонил телефон. Адам снял трубку — это звонил его брат. Он успел только сказать, что сейчас наверняка отключат телефоны и что отца забрали. Через несколько минут погас свет.

— **Вы боялись?**

— Я боялась, что в наш дом может ворваться разъяренная толпа. В городе кружили слухи о том, что у нас дома везде мрамор с серебряными украшениями. Я запаковала в чемодан более или менее ценные вещи, какие-то ювелирные изделия, шубу, и мы перебрались к друзьям. В течение дня мы ездили проверять, цел ли еще наш дом.

— **Вы не собирались сменить фамилию?**

— Даже мысли такой не было. У меня уже было довольно много научных трудов, меня знали под фамилией Герек. Я никогда этой фамилии не стыдилась.

— **И как вам жилось в это время?**

— Приходилось подрабатывать. После дежурств в больнице я бегала в частную кооперативную поликлинику на улице Мицкевича.

Хуже всего, что сразу все исчезло из магазинов, и я должна была припомнить все, чему меня учила мама. Если мне удавалось достать курицу, то я ее использовала до последней косточки. Мне так удавалось вести хозяйство, что этой курицы мне хватало на неделю. Я и хлеб сама пекла.

— **А в очередях вы не стояли?**

— Разумеется, стояла.

— **Вы — в очереди в мясную лавку?**

— Ну, иногда мне везло, если продавщица оказывалась моей пациенткой. Я просто оставляла ей карточку, и тогда в очереди мне стоять не приходилось.

— **Вы болезненно переживали потерю статуса?**

— Я поняла, что когда кто-то занимает высокое положение, то у него нет друзей, а только прилебатели. И когда он это положение теряет, то эти же люди от него отворачиваются. К счастью, отец научил меня, что если я буду хорошо работать, буду крепким профессионалом, то, даже если сменит Герека, мне не придется пахать в каком-нибудь диспансере, что я сама за себя сумею посто-

ять. И потому в герековскую эпоху я полностью сосредоточилась на том, чтобы завоевать себе прочное положение в своей профессии.

— **У вас не было никаких неприятностей?**

— У меня — нет, а вот у дочери были. Она была в выпускном классе, когда в школе развешивали листовки, на которых Герек качался на виселице. Разумеется, приятного здесь мало. Все-таки это ее дедушка.

И еще я беспокоилась за ее экзамены на аттестат зрелости. Она сдавала их в мае 1981 года. Преподавательница русского языка была председателем «Солидарности». Моей Стасе грозила двойка по русскому, но она сумела успешно сдать все экзамены.

— **Но в институт не попала.**

— Она поступала в Силезскую медицинскую академию, и ей не хватило двух баллов. В институте мне сказали, чтобы она забирала документы, потому что ректор все равно своего решения не изменит. Хуже всего было полная беспомощность. Даже жаловаться было некуда. Но, как только мы забрали документы, ректор снизил проходной балл сразу на 20 пунктов. Просто он не хотел принять Стасю, потому что ее фамилия была Герек. Дочка решила, что пойдет в секретарши. Я ей это выбила из головы, и она поехала учиться в ГДР.

— **Как вам удалось это устроить?**

— Помог ее отец, который тогда работал в Дрездене. Сначала она год учила немецкий в Лейпциге, а потом поступила в институт в Грейсвальде. Она там проучилась семь лет.

— **В каком году вы почувствовали, что снова становитесь на ноги?**

— Когда я возобновила знакомство со своим теперешним мужем Тадеушем. Сразу же после моего развода с Адамом он позвонил и попросил обследовать его тогдашнюю жену. После этого он пришел с букетом цветов. Потом стал приходить все чаще, и в 1984 г. мы поженились. Его жена охотно с ним развелась.

— **Кто ваш третий муж?**

— Это идеал мужчины. В свое время он работал на металлургическом комбинате, потом был директором Центрального управления снабжения металлургической промышленности. По образо-



ванию он экономист. Теперь он уже не работает, но часто помогает мне советами по разным проблемам, связанным с клиникой.

— **Вы в него очень влюблены?**

— Да, и он в меня тоже. Это довольно редко для людей в нашем возрасте.

— **И вроде бы дела у вас идут неплохо?**

— Об этом тоже сплетничают?

— **Да, с тех пор, как в 1991 г. вы открыли в Катовице частную практику.**

— Сегодня у меня в кабинете работают 16 человек.

— **Сколько вы зарабатываете в больнице и в Академии?**

— В общей сложности около шести тысяч злотых.

— **А в частном кабинете?**

— Гораздо больше. Впрочем, я и так, наверное, самый дешевый профессор в Польше. За консультацию я беру сто злотых.

— **Сколько пациентов в день вы можете принять?**

— До пятидесяти.

— **Так много? Это просто конвейер какой-то.**

— Для этого у меня и работает 16 врачей, чтобы мне пациентов подготовить. Когда они приходят ко мне на прием, у них уже проведены все обследования и поставлен предварительный диагноз.

— **Сколько времени вы проводите с одним пациентом?**

— Несколько минут.

— **Вы много работаете...**

— Я встаю в 5 утра, слушаю прогноз погоды, подкрашиваюсь. В 7 час. 10 мин. я уже в клинике. После трех дня по вторникам, средам и четвергам я еду в свой кабинет. Домой возвращаюсь до семи вечера и тогда уже могу заниматься чем хочу. Ложусь я рано, около девяти.

— **У вас есть подруги?**

— Нет.

— **Когда-то вы были важной персоной. Как обстоят дела сегодня?**

— У меня прочное положение в моей профессии.

— **Вы знакомы со многими влиятельными лицами?**

— Сегодня люди на высоких постах так быстро сменяются, что мне удается функционировать, не прибегая к знакомствам. Я их и не ищу. Когда я добиваюсь помощи для больницы или для пациента, люди обычно знают, кто я такая.

— **Быть может, сегодня больше людей хотят познакомиться с вами?**

— Только если у них проблемы со зрением. Теперь ведь не нужно получать направление к окулисту. Каждый может прийти в нашу клинику, и рано или поздно я с ним встречу.

— **Как вы боретесь со стрессами?**

— На кухне. Я люблю готовить.

— **Считаете ли вы себя человеком, который делает добро?**

— Я никогда никому не сделала гадости. Если ты оказываешь кому-то услугу, то не следует ожидать, что он тебе оплатит добром за добро. Но я глубоко убеждена, что добро всегда к нам вернется.

— **Вам довелось испытать это на себе?**

— Когда в клинике у людей были проблемы, я всегда им помогала. Когда я была в трудной ситуации и в первом заходе проиграла конкурс на должность директора клиники, весь коллектив подписался под петицией, что они хотят, чтобы я была директором. Меня это очень тронуло.

— **Какие у вас сегодня политические пристрастия?**

— Никаких. Я целиком и полностью аполитична.

— **А кто вам ближе: Колодко или Бальцерович?**

— Бальцерович. Немногие способны оценить, что он сделал для Польши.

— **Ощущаете ли вы себя женщиной, добившейся успеха?**

— У меня прекрасный муж, я радуюсь внукам, у меня есть моя клиника. Ничего больше мне не нужно.

Беседу вели Кристина БОХЕНЕК
и Дариуш КОРТКО

gazeta
* * * * *



КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ

Лешек Шаруга

МЕЖДУ СТИХАМИ

Корнель Филипович (1913-1990) несомненно принадлежит к числу выдающихся польских прозаиков XX века. Он дебютировал между двумя мировыми войнами как поэт и после того, как долгие годы был сосредоточен исключительно на повествовательном искусстве, завершил свое творчество как поэт «вторым заходом» — сборником стихотворений «Скажи это слово». Проза, оказавшаяся между стихами, открывающими и замыкающими творчество писателя, предстает как многогранное исследование человеческой судьбы, запись и документация реалий польской жизни.

Он не принадлежал к числу громких писателей — может быть потому, что, как заметил один из критиков, его творчество охватывает «космос повседневности» и скорее чуждается писания историй в масштабе «макро». Конечно, мы найдем у него также описания событий, связанных с ответственностью человека в «годы безвременья», формировавшие опыт прошлого века. Он мастер кратких форм — рассказов, новелл, микроповестей. В одном из интервью он говорит: «... вопреки тому, что считают некоторые критики, и невзирая на видимость, будто я пишу психологическую прозу, я не доверяю самонаблюдению. Я убедился, что механизм внутренней жизни человека практически непознаваем. Я довольствуюсь методом сравнения: стараюсь добраться до нутра человека, учитывая связи между людьми, между людьми и животными, вещами, и даже между вещами и вещами».

Одна из основных задач Филиповича как писателя — проникнуть в личность героя, труд самопознания через самоопределение по отноше-



Ксения Старосельская



В начале 2001 года в Москве при Польском культурном центре был организован семинар переводчиков польской литературы; мне предложили его вести. Объявили конкурс, из числа претендентов — людей неопытных, но в большинстве своем, судя по предложенным на конкурс переводам, обладающих хорошим литературным вкусом, — были отобраны двенадцать человек (впоследствии число участников сократилось почти вдвое), и работа семинара началась. Мне показалось целесообразным сосредоточиться на произведениях одного автора. Оставалось выбрать писателя, который удовлетворит сразу многим разнообразным требованиям. Его проза должна быть самого высокого уровня, но при этом лишенной литературных изысков, пускай и привлекательных для переводчика; ни в коем случае не упрощенной, но логичной и ясной, содержательной и психологически точной; ну и, конечно, стилистически безупречной. К тому же это должны были быть отдельные, желательно небольшие рассказы: каждому участнику семинара предстояло «возделывать свою полянку» — притом, что плоды его трудов будут обсуждаться на занятиях совместно. Имя автора пришло на ум мгновенно: Корнель Филипович.

Уже более десяти лет назад Филипович ушел из жизни, но и сегодня по-прежнему отчетливо ощущается его отсутствие. Как писателя, виртуоза «малой прозы», едва ли не лучшего представителя этого жанра в польской литературе второй половины XX века. Как человека высочайшей нравственности, не претендовавшего на роль Учителя, но ставшего наставником для многих — и литераторов, и не



литераторов. Без него стало пусто еще на нескольких страницах польской литературы уже минувшего столетия. Но не только. Пусто стало на старинных улицах Кракова, где до сих пор словно бы видишь высокую, очень прямую фигуру, то и дело приостанавливающуюся, чтобы раскланяться с кем-нибудь из бесчисленных знакомых. Странно пусто стало в просторной квартире на последнем этаже дома на бывшей улице Дзержинского, где самая большая комната была когда-то мастерской давно скончавшейся жены писателя, выдающейся польской художницы-авангардистки Марии Яремы — и где все оставалось таким, каким было при ее жизни: рабочий стол с папками рисунков, мольберт, картины на стенах. Где еще одну комнату занимала мать Филиповича, пани Станислава, прожившая долгую трудную жизнь, в которую вместились скитания, сибирский лагерь, армия Андерса (военный мундир с наградами всегда висел на стене, справа от входа). И где третья комната принадлежала самому писателю: книжные полки, ковер на стене, а на нем старая сабля и пистолеты, большой письменный стол с древней пишущей машинкой и приставленный к нему под прямым углом маленький столик, за которым, напротив хозяина, так любили сидеть за чашкой чая или чего-нибудь покрепче его друзья или молодые литераторы, пришедшие за советом, или даже малознакомые люди, нуждающиеся в мудром и добром слове; на свободном от книг пространстве — картины, фотографии, набальзамированные головы собственноручно пойманных рыб; в этих чудесных декорациях бесцеремонно разгуливал черный кот, которому будет невдомек, куда девался хозяин, и о котором Вислава Шимборская напишет стихотворение «Кот в пустой квартире» (*«Ну пусть он только вернется, / пусть только покажется. / Уж тут-то он узнает, / что так с котом нельзя.»*).

Писателя нет, но общение с ним можно продолжить, раскрыв томик его рассказов или микророманов, или тоненькую книжечку стихов (в конце жизни Филипович снова, как в начале своей литературной деятельности, стал писать стихи — и стихи превосходные). Нам хотелось, чтобы такая возможность появилась и у нашего читателя. Нельзя сказать, что в России польского прозаика Филиповича не знают: еще в 60-е годы в СССР вышел сборник его микророманов; подборка рассказов (в моем переводе) была напечатана в 1978 году в «Иностранной литературе». Но это было давно. (В те застойные годы, впрочем, литература Польши была достойно представлена на книжном рынке — это сейчас в море выходящей у нас зарубежной литературы польские «островки» появляются неоправданно редко.) Поэтому мы решили опубликовать хотя бы часть сделанного участниками семинара. Свои страницы нам с удовольствием предоставила все та же «Иностранная литература» (2002, N 4). Сейчас, когда работа над текстами подходит к концу, мы ищем издателя, который выпустил бы полновесный сборник нашего автора. А пока предлагаем читателю «Новой Польши» стихотворение и несколько рассказов в переводах тех, для кого, хочется надеяться, работа над произведениями Корнеля Филиповича станет первым этапом на многотрудном пути «освоения» и пропаганды польской литературы.

нию к обстоятельствам, в которых он находится. Главные темы этой прозы, где действие происходит вскоре после войны, — это события войны и оккупации, провинциальная жизнь, близость к природе, благодаря которой приходит понимание сути человеческого существования. Проза эта, сжатая и с виду неэффективная, ведущая свободное, неторопливое повествование, сосредоточивается на проблеме ответственности за свою и чужую судьбу, верности истинным ценностям вне зависимости от обстоятельств.

При этом здесь нет недостатка в иронической отчужденности от жизни, зачастую рассматриваемой с перспективы смерти, — так, в одном рассказе мы читаем: «В час смерти, в последнем озарении, нам вновь была дана способность всё слышать и понимать. Дано на мгновение то, что вскоре нам станет уже не нужно». В смертный час, как и в попытке пересказать сон, мы оказываемся на грани молчания. Вот еще один афоризм, который мы находим в рассказе «Ника»: «Сон посвящен во все, но он таится. Он молчит или же пользуется одними намеками». Кстати, это единение смерти и сна — один из самых интересных тропов этой прозы. В том же рассказе мы находим еще одну сентенцию: «Сны надо, если удастся, досмотреть до конца, а жизнь — до конца дожить». Эта афористическая краткость — один из самых емких повествовательных приемов Корнеля Филиповича.

Реализм, краткость, афоризмы, инкрустированные в эту прозу, представляют, несомненно, ее наибольшую силу. Поражает также «обыкновенность» описываемых событий, их будничность. Литературное мастерство позволяет этим внешне заурядным историям — благодаря поэтическим вкраплениям в прозаическую породу, не сразу в ней различимым, — подняться до ранга притчи. Описание внешне будничных и обычных событий благодаря этому писательскому приему позволяет возводить их в обобщения, не прибегая к необычным ситуациям или повествовательной изобретательности. Внутренняя динамика этой прозы не требует иной необычности, кроме поэзии жизни и переживания, — достаточно извлечь ее, чтобы показать смысл жизни, скрытый между стихами.



Корнель Филипович

Перевод Ольги Чеховой

ЗАВТРА СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ

На востоке еще продолжалась война, моего отца с нами не было. Мы жили в сером двухэтажном доме по соседству с казармами, с трех сторон окруженными кирпичной оградой, с четвертой – высоким железным забором. Мне было шесть лет, и я собирал каштаны, валявшиеся на сырой, поросшей редкой травой земле, соскребал ломкую, отстающую от кирпича штукатурку, рыл подкопы, сооружал здания и строил мосты. Потом внезапно бросал все эти занятия, чтобы проникнуть в закрытый на всякий замок сад, где в тени кустов росли огненные настурции. Эти цветы по вкусу напоминали редис, мне об этом сказал один мальчик, который потом умер от скарлатины. Я срывал и съедал цветок настурции, вдруг, чем-то обеспокоенный, настораживался: из конюшни доносилось постукивание копыт, а где-то вдалеке слышалось, как гремят колеса по брусчатой мостовой. Затем я медленно направлялся в дальний уголок парка. Там был круглый бетонный бассейн, наполненный вместо воды густым черным месивом. В бассейне не водилось ни рыб, ни даже жаб; и все же что-то противное там обитало, шевелилось – иногда, по вечерам, оно громко подавало голос. Взрослые – мама и бабушка, да и другие люди, которые появлялись в нашем доме, – говорили, что в этом пруду нет дна, и если я туда упаду, пропаду навсегда. Я боялся этого места, но не до такой степени, чтобы обходить его стороной. Можно сказать, что я ходил туда, чтобы бояться. Подобным образом дело обстояло и с одноэтажным строением, которое находилось в самом далеком и темном закутке парка. У этого серого каменного здания была низкая дверь и два узких окна, закрытых ставнями, правда, не очень плотными. Пробравшись через высокую пыльную крапиву и лопухи, приподнявшись на цыпочки и прикинув к щели в ставне, немного погодя можно было увидеть низкий длинный стол, обитый жестью, какие-то коробки и груды бумаг, перевязанных веревкой. Мои походы в это место не удавалось скрыть из-за крапивы. «Ты опять чешешься, опять был около этого морга!» – кричала мама, и мне влетало по первое число. Некоторое время я не казал носа в эту часть парка. И отправлялся в другую сторону, где мне, впрочем, тоже запрещалось появляться. Но мое пребывание там проходило незамеченным; там не было ни крапивы, ни бревен, ни грязи. Был огромный пустой двор и колодец с железным колесом. Двор окружали низкие длинные конюшни. Здесь всегда пекло солнце и стояла страшная жара. В конюшне оставалось только несколько старых лошадей, потому что все молодые ушли на войну. Посреди двора торчала большая пушка с длинным стволом, около пушки муштровали солдат. Они были одеты в старые залатанные мундиры, от них пахло кожей и нафталином. На головах – фуражки, по лицам текли струйки пота. По приказу капрала с черными усиками солдаты бежали, замирали без движения, потом опять бежали и собирались около пушки. Потом, тоже по приказу, поднимали ее тяжелый железный хвост и поворачивали длинный ствол в другую сторону. Я долго наблюдал за солдатами и ждал, когда пушка выстрелит; ведь в мире еще продолжалась война. Но пушка не собиралась стрелять. Потом капрал объявлял перерыв и говорил, что можно курить. Солдаты бежали к колодцу, крутили железное колесо, пили много воды, лили ее себе на голову и поливали друг друга, потом закуривали сигареты. Моя мама говорила, что этим солдатам нет и шестнадцати лет, и они ругаются нехорошими словами. Я слышал, что говорили солдаты, но не повторял этого дома. Взрослые считали, что раз таких детей берут в армию, значит, война кончается. Но война, очевидно, не закончилась, потому что солдаты уехали на фронт, а во дворе появились другие, старые, очень старые, у них были усы, а у некоторых и лысины, курили они трубки. Они бегали не так быстро, как молодые и столько воды не пили. Однажды старые солдаты уехали, их сменили молодые, но другие, не те, что раньше. Остался только капрал с черными усиками и большая пушка, на которую на ночь надевали зеленую одежду.

Мой трудовой день заканчивался в сумерки, когда меня звали домой насовсем. Я же, по мере приближения этой минуты, чувствовал, что количество неотложных дел увеличивается. Я вспоминал,



что сегодня еще не ходил на свалку, где можно найти пуговицы от российских и немецких мундиров, стреляные гильзы и вообще много загадочных предметов. На полпути я менял планы, потому что появлялась необходимость проведать белых кроликов с красными глазами, живших в двухъярусных клетках. В парке становилось сумрачно, по еще светлому небу, каркая, летели вороны и рассаживались на верхушках каштанов. У меня оставалось все меньше времени, поэтому прочими делами приходилось заниматься на бегу. Когда я пересекал пустой двор, из открытых окон казармы доносились звуки гармонии. Я припускал быстрее, потому что эти заунывные, протяжные звуки напоминали мне, что времени совсем мало. Я мчался изо всех сил, на бегу наклонялся, чтобы поднять с земли предметы, которые ждали меня, и засовывал их в карман. Я несся вдоль каменной ограды и, запыхавшись, останавливался возле подкопа, проделанного под ней. Падая на землю и некоторое время лежал неподвижно. Сердце колотилось очень сильно. Я смотрел наружу и слушал. Надеялся, что какое-нибудь происшествие изменит дальнейший ход событий этого дня. Я был уверен: что-то придет оттуда, из-за ограды. Я лежал на земле довольно долго, но все было как обычно; по тротуару стучали каблуки, по мостовой, скрипя и громокая, ехала телега. Вдруг издали донесся голос мамы, зовущий меня домой. Я слышал его – и не слышал. Сначала он раздавался во мне, потом где-то далеко, на краю света, и замолкал. Я вскакивал и бежал дальше вдоль ограды. Останавливался под каштанами и с минуту приглядывался и прислушивался. Пахло землей, старыми мешками и крапивой. Здесь, внизу, было тихо, а высоко над головой, в кронах деревьев, ссорились вороны, хлопали крыльями и сталкивали друг друга с веток. Снова послышался голос мамы, он плутал, не мог меня найти, но был на верном пути. У меня оставался еще один шанс: спрятаться в кустах дикой сирени. Я бежал, пригнувшись, раздвигая перед собой ветки. В одном месте, около дырявого ведра, я притормаживал и дальше шел медленно, крадучись, всматриваясь в густую листву, пока на фоне неба не находил предмет, о существовании которого знал: это было птичье гнездо. Я осторожно вытягивал руку, из гнезда с шумом выпархивала маленькая лесная птичка и садилась неподалеку в развилке веток. Птица поворачивала головку и смотрела на меня. В эту минуту голос мамы прорывался через какую-то мощную преграду и достигал моего слуха. Приходилось сдаваться, убежать я уже не мог. Голос знал, где я, он меня нашел. Я возвращался домой.

Однажды, в обычное время, я шел домой, смирившись со своей участью, и вдруг услышал шаги там, где никогда прежде не встречал людей. Это было недалеко от морга, мимо которого сейчас, в темноте, я шел быстро, не оборачиваясь. Я встал за деревом, посмотрел из-за ствола и увидел двух солдат, которые вели женщину. Женщина шла между ними с опущенной головой и молчала. Солдаты с женщиной прошли мимо меня, я видел их лица, перекошенные, злые. Несомненно, они вели на смерть эту женщину. Один из солдат вынул из кармана ключ и долго открывал дверь морга, говоря при этом нехорошие слова. Второй озирался по сторонам, но меня не заметил. Я хотел убежать, но ноги как будто приросли к земле, хотел закричать, но не мог открыть рта. Когда все трое вошли внутрь, мне удалось сдвинуться с места. Я опрометью кинулся домой и попытался рассказать, что видел. Я твердил, что нужно немедленно бежать, потому что солдаты могут убить женщину. Но взрослые проявили ужасное равнодушие: бабушка вышла на кухню, а у мамы начало странно меняться выражение лица, становясь то веселым, то грустным. Знакомый офицер, который как раз был у нас в гостях, покраснел как рак и стал быстро расстегивать высокий, расшитый серебряными зигзагами воротник. Его жена, которую я терпеть не мог, велела мне идти на кухню, потому что меня зовет бабушка.

На кухне в это время бабушка готовила мне на примусе ужин, я должен был раздеваться и мыться. Примус шумел, я стоял в тазу и делал вид, что мою живот и ноги. Но внимание мое было направлено на то, что происходило за окном: там начиналось ежедневное страшное зрелище. Огромное раскаленное солнце медленно опускалось, багровея и приближаясь к плоской земле и черному лесу на горизонте. Огненный шар исчезал в тучах, сгорал, мир терял цвета, гас. Потом солнце снова появлялось под тучами, но было уже очень тонким, расплавленным, прозрачным. Тогда на несколько минут вспыхивали деревья, крыши, окна домов и высокие железные штакетины. Начинался конец света. Солнце приближалось к черному лесу, отделявшему землю от неба, и темнота принималась поедать его,



медленно, кусок за куском. Солнце исчезало, от мира оставалось только черное пепелище. Это был конец – меня охватывала страшная тоска, потом бессильное отчаяние, я начинал плакать. Но меня никто не понимал, мне только попадало от взрослых.

Однажды рано утром в нашем доме появился высокий человек со светлыми усами и загорелым лицом, как мне сказали, мой отец. Этот человек вернулся с войны, потому что война закончилась. Мне велели радоваться по поводу приезда человека, которого я даже не знал. Меня убеждали, что я должен быть счастлив и должен любить этого человека, потому что он мой отец. От меня требовали непонятных вещей. Мама и бабушка без конца повторяли, что все будет иначе, что теперь только начнется жизнь. Однако, несмотря на уверения взрослых, что теперь все будет иначе, дню возвращения моего отца предстояло снова закончиться ужасным зрелищем, может, даже еще более страшным, чем прежде.

Из-за суматохи в доме мытье и ужин отложили на более позднее время. Но мир не интересовало, что происходит в нашем доме. Я это сразу понял. Я стоял в кухне возле окна, брошенный всеми. Взрослые сидели в комнате и второй раз слушали рассказы моего отца о том, как он ел крыс и как потом болел тифом. Это было отвратительно, то, что он рассказывал, я брезговал этим человеком. Я стоял около окна и видел: ничто не в состоянии помешать тому, что должно произойти. Солнце зашло за черные, высланные изнутри разноцветной ватой тучи. Оно опускалось все глубже, отбрасывая желтые лучи на небо. На краю туч еще несколько мгновений продолжалась битва, но ее исход был предопределен, я это знал. Тем не менее, я хотел, чтобы у меня еще оставалась надежда; я забрался в постель, прижался щекой к подушке и закрыл глаза. Когда, минутой спустя, я встал и снова посмотрел в окно, битва уже была проиграна. Солнце еще раз выглянуло из-за черных, раскаленных по краям туч, но оно уже потерпело поражение, стало слабым, тонким, прозрачным, как стекло. Вдобавок ко всему поднялся сильный ветер, он гнул ветки каштанов и развевал черный дым из труб. Резко стемнело. Мир уменьшался, задыхался и исчезал. Кто-то ходил по кухне, гремел, передвигал стулья. В комнате громко разговаривали. Я все слышал, но меня эти разговоры не интересовали. Вдруг за моей спиной раздался грубый голос моего отца:

– Почему он плачет?

– Он всегда плачет, когда заходит солнце. Придумал себе такую игру, – равнодушно ответила мама.

– Почему ты плачешь?

Отцу пришлось два раза повторить свой вопрос, потому что я не хотел отвечать; впрочем, я и не знал, что сказать. Через минуту я выдавил из себя:

– Потому что все кончается...

– Что кончается?

– День кончается, мир кончается, больше ничего не будет...

– Что ты говоришь, завтра снова будет день, – сказал мой отец. Его голос уже не был таким грубым и хриплым, как минуту назад.

– Нет, нет, – упрямо твердил я. Никто меня не понимал. А я не мог объяснить, в чем дело.

– Даю тебе честное слово, что завтра снова будет день, – заверил меня человек, который ел крыс. Когда я об этом вспомнил, новая волна отчаяния захлестнула мою душу.

– Посмотри, мы все ждем завтрашнего дня, – мягко сказал мой отец.

– Нет, нет, – упрямо повторял я. Меня сотрясали рыдания. Никто меня не понимал. Ведь это мой мир кончался, мир моих вещей, радостей и страхов – не их мир!



Корнель Филипович

Перевод
Ирины Подчищевой

МОЛИТВА НЕВЕРУЮЩЕГО

Как-то утром перед отправкой на работу к моему другу, с час как принимавшему больных в санчасти, гурьбой вошли заключенные и среди них немолодой уже, но выглядевший значительно старше своих, как потом оказалось, сорока девяти лет мужик. Он был из русских *староверов*¹ и сидел за свои странные религиозные убеждения. Невзлюбившее старовера лагерное начальство не упускало случая поизмываться над ним, некоторые же заключенные, русские, относились к нему с большим уважением. Мой друг знал его только с виду. Он запомнился ему приветливым выражением лица — нет, пожалуй, это не совсем точное определение: скорее, не сходявшей с лица полуулыбкой, подобной той, по которой иногда можно угадать тяжело больного или старого зека, скрывающего под застывшей гримасой внутреннюю подавленность. Теперь он показался моему другу сильно изменившимся, исхудалым: под мышкой у него торчал засунутый санитаром градусник. Лицо серое, скукожившееся, как печеное яблоко, седая борода топорщится разлохмаченным венником, волосы мокрые от пота. Температура у старовера была не слишком высокой — тридцать восемь, но по всему было видно, что его мучает какая-то болезнь.

— Где у тебя болит? — спросил Мечислав.

Старовер с трудом разогнулся и дотронулся до живота около пупка. Санитары положили его на топчан и помогли расстегнуть и спустить штаны. Мечислав принялся осторожно прощупывать впалый живот. В районе желчного пузыря чувствительность была невелика, зато вправо вниз от пупка резко возрастала. Область аппендикса была особенно болезненна, кожа там слегка порозовела, впрочем, с болью это могло быть не связано. Мой друг, как бы спеша удалиться от места, которое с самого начала показало ему наиболее подозрительным, прощупал желудок, селезенку, печень, толстую кишку. В ней скопилось немного газов, остальные органы были вроде бы в порядке.

— Ты завтракал?

— Нет, меня мутило.

— А вчера на ужин что-нибудь ел?

— Ничего — тошнило все время и даже вырвало.

Мой друг еще раз пощупал живот в районе аппендикса, стараясь не особенно сильно нажимать. Теперь у него была почти стопроцентная уверенность, подкрепленная каким-то внутренним чутьем, возможно, интуицией, подсказывающей, что это воспаление аппендикса. Но даже старый, умудренный опытом практикующий врач не всегда может быть уверен в точности своего диагноза. Что уж говорить о нем, который на занятиях в клинике видел всего два, от силы три случая воспаления червеобразного отростка. И раз только профессор показал, как менять повязку после такой операции, да и то, когда шов уже почти зарубцевался. И все. Так откуда взяться уверенности у него, студента третьего курса медицинского института? Без практики, без рентгена, без коллеги-врача, с которым можно было бы посоветоваться? Мечислав велел санитарам помочь староверу одеться и уложить его на койку в больничке, а сам сел за стол писать освобождения от работ тем, кому следовало остаться в бараке. Благо, их было не так много: двое с переломом руки — кости у них еще не совсем срослись, один с подозрением на воспаление легких, ну и старовер. Санитар Казюк стоял в ожидании бумаги, чтоб бежать с ней к коменданту.

— А у старовера-то что? — спросил Казюк.

— Аппендицит. Пусть пока полежит.

— Касторки ему дать да и дело с концом, — сказал Казюк.

¹ Курсивом даны встречающиеся в тексте русские слова.



Мечислав перестал писать и резко обернулся к санитару.

— Ради Бога, только не это! А может, дали уже?!

— Даже если б захотели — касторки нету. *Командир* всю извел на сапоги — в воскресенье собрался на диких уток охотиться, — сказал второй санитар, Михайло.

Казюк помчался со списком к коменданту и немного погодя вернулся — фамилия старообрядца из списка была вычеркнута. Мечислав вскочил и как был в белом халате со всех ног бросился к воротам. Там уже строились в колонны для выхода на зону. Комендант в окружении офицеров наблюдал за разводом и отправкой первой колонны. Подлетев к коменданту и доложившись по форме, Мечислав попросил того отойти в сторонку на два слова. Комендант, крупный, грузный мужчина, откормивший себе брюхо на допайках, за долгие часы сидения за столом и в кабине рядом с шофером, сделал три шага вбок и сказал:

— Слушаю.

— Вы вычеркнули из списка фамилию Рыбакова.

— Верно. 38° — это не температура.

— Столько было часа два назад. Сейчас уже 38,5, — соврал Мечислав. — Он может умереть, если спустится в забой.

Еще месяц назад комендант крикнул бы: «Да и черт с ним!» — теперь же он проглотил эти слова, только на скулах у него заходили желваки.

— Что с ним?

— Пока точно не знаю. Но температура все время повышается. Может, воспаление легких, или даже воспаление мозговых оболочек, — как по нотам врал Мечислав. — Трудно сказать, во что это может вылиться. Во всяком случае, в таком состоянии он работать не может, да и транспортировать в госпиталь его нельзя. Я отвечаю за его жизнь перед вами, гражданин комендант.

Комендант подумал, что и он, комендант, теперь отвечает за жизнь этого ублюдка старообрядца. С минуту он молча стоял, глядя в глаза Мечиславу, будто раздумывая, хотя наперед знал, что ответит.

— Ладно. Подержи его у себя. Если до завтра температура не спадет, отправим в госпиталь на базу.

Мечислав вернулся и сел за стол. Он смотрел в окно на выходящие из ворот колонны и думал. Допустим, это воспаление аппендикса, тогда поездка в тряском грузовике по ухабистой дороге, где брошенные под колеса в низких топких местах доски скачут, как клавиши, — верная смерть для больного. Ну а если аппендикс лопнул, или это произойдет через пару часов, перетонит обеспечен, что тоже означает конец. Мечислав уже ознакомился с инструкцией по применению недавно полученного сульфатаиазола и мгновенно подсчитал, что лекарства хватит только чтобы вылечить одного человека от воспаления легких или не более двух от дизентерии. А от воспаления брюшины? У мыслительного процесса, предваряющего принятие быстрого решения, свои законы: он протекает скачками, а промежуточные стадии подобны прозрачным узорам на стекле, поэтому схватываешь не отдельные элементы, а сразу все целиком. Правда, принятые таким образом решения хоть и молниеносны, но слишком часто близки к безумным. Успешность их осуществления зависит тогда только от везения, или попросту говоря от воли случая. Мечислав отвернулся от окна и крикнул:

— Казюк, Михайло!

— Да.

— Как там наш старовер?

— Плох совсем, стонет, блевать его тянет то и дело.

— Измерьте еще раз температуру. А теперь слушайте внимательно: покажете мне все, что у вас есть из хирургических инструментов. Их надо будет как следует простерилизовать.

— Чего-о?

— Про-ки-пя-тить. Поняли? Кипятить не меньше получаса. Вам ясно?

— Да.

— Потом нагрейте побольше воды для мытья рук. Ну что уставились? Действуйте!

Мечислав отпер ключиком шкафчик — новое приобретение, сработанное лагерным столяром, и убедился, что есть почти полпузырька эфира, капелька спирта, иглы и немного хирургических ниток. И еще кое-что, немислимо ценное — кетгут.



— Казик, ну где инструменты?

Оказалось, что у больного 38,7 — температура поднималась.

Санитары занялись поисками инструментов. Долго рылись на полке, переставляли бутылочки, пузырьки. Наконец Мечислав увидел перед собой разложенные на белой клеенке инструменты: два пинцета, скальпель, хирургическую ложку и несколько зажимов. На большее он и не рассчитывал. И вдруг, похолодев, заметил, что у скальпеля, инструмента самого необходимого, отломан конец, а щербатое лезвие напоминает зубья пилы. В следующий момент он как будто услышал треск раздираемых тканей и такую боль, словно резал по живому собственное тело.

— Ну нет, я с ума сойду. Что это такое, что это такое, я вас спрашиваю?

— Небошь, банку с американской тушенкой кто-нибудь открывал...

Мечислав задумался, потом полез в карман за своим складным ножиком в жестяной оправе. Он немало за него заплатил: с четверть кило сахару, который копил целый месяц, отрывая от ежедневной пайки. Лезвие было одно, зато острое как бритва — Мечислав любил тонко заточенные карандаши. Не далее как вчера он правил ножичек на бруске, а потом на ремне. Послунявив тыльную сторону ладони, он испробовал лезвие — брило не хуже стального. Мечислав отложил в сторону щербатый скальпель, а к пинцетам и зажимам добавил свой ножичек.

— Кипятить не меньше получаса, — приказал он решительным тоном, но уже без раздражения. Криком делу не поможешь.

— Есть!

— Через час — операция. За полчаса до операции — мытье рук с мылом в горячей воде по локти. Мыться тщательно, воду менять три раза. Все понятно?

— Так точно.

— А куда вы его положите, доктор?

— Составьте два столика, накройте чистой простыней. Ножки у столиков свяжите шпагатом, чтоб не разъехались. Все ясно?

— Угу.

— Да, вот еще что, — снова обратился он к ним. — Ты, Михайло, (ему показалось, что для выполнения этой миссии белорус или кто он там, украинец, но только не поляк Казюк, подойдет больше) беги к коменданту, скажи, доктор просит выдать лампочку помощней, не меньше сотки, только не проговорись, зачем нам понадобилась сотка, скажи, при двадцатипятисвечевой доктор ничего не видит. Ладно? Ну беги!

— Понял, — ответил Михайло без особого энтузиазма и пошел не спеша.

Часом позже старover Рыбаков Иван Васильевич лежал на столе в чем мать родила, худой как щепка, с выступающими ребрами, обтянутыми тонкой, словно пергамент, кожей. Он напоминал павшую лошадь, до которой вот-вот доберутся волки. Мечислав прикрыв его ноги и грудь полотенцами.

— Надо вырезать из тебя эту дрянь и выбросить, — говорил он ему, протирая спиртом правую нижнюю четверть живота.

— Делай, что хочешь, лишь бы болеть перестало.

— Больно не будет, только ты, смотри, не дернись.

Мечислав немного обождал, пока не подсохла кожа, потом вылил до капли остатки эфира на то место, где собирался делать надрез. Должно быть, это как-то обезболело кожу и принесло некоторое облегчение старoverу, потому что он перестал стонать.

Отношение к религии у Мечислава было довольно поверхностным, скажем так — по-армейски формальным: «Рота — на молитву!» и «Когда займется утренняя зорька...», а вечером опять «На молитву» и «Под защиту Твою...» Он отдавал команды и сам пел вместе с другими своим сильным чистым баритоном. Этим его обязанности перед Богом, в которого он не очень-то верил, исчерпывались, и можно было считать их исполненными. Верил он только в Польшу, в ее историю и мудрость некоторых ее королей и вождей. В школе, в армии и когда был в партизанах, носил на серебряной цепочке образок Божьей Матери Ченстоховской, подаренный матерью, когда ему исполнилось семь лет. Собираясь мыться или купаться в реке, он вспоминал о его существовании и



следил за тем, чтоб не потерялся. Для него это был всего лишь амулет и ничего больше. В тюрюме, разумеется, образок отобрали.

И вот теперь ему предстояло — чего он никогда прежде не делал — добраться до внутренностей человека: разрезав живую плоть, вскрыть брюшную полость. Все было готово: на табурете, прикрытом полотенцем и придвинутом к импровизированному операционному столу, лежали на тарелке простерилизованные инструменты, на другом табурете в тарелке — ватные тампоны. На полочке ждал стакан кипяченой воды с двумя растворенными в ней таблетками риванола. Мечислав свято верил в эффективность этой желтой жидкости — еще с партизанских времен ему было известно ее чудодейственное противовоспалительное и подсушивающее действие. Через минуту ему предстояло начать операцию с надреза кожи — и тут вдруг силы оставили его. Мечислав взглянул на санитаров — выражение лица у обоих было глуповатое. Они замерли в ожидании. Оцепенев от накопившего на него страха, Мечислав внезапно почувствовал себя одиноким и беспомощным. Правая рука, казалось ему, онемела, как после сна в неудобном положении, а пальцы утратили чувствительность и будто одеревенели. И в этот момент, не находя ни в себе, ни вокруг себя ничего, что могло бы прийти ему на помощь, он начал молиться — впервые за многие годы со времени детства. Слова всплывали независимо от него откуда-то из глубин сознания и заставляли беззвучно шевелиться его губы и язык: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, да пребудет воля Твоя на небеси, яко на земли. . .» Была ли это молитва? Он не знал и не думал об этом. В ту минуту это было единственное, что он мог сделать для себя и для лежащего на столе человека.

Осторожно двумя пальцами оттянув тонкую, совершенно лишенную жировой прослойки кожу, он неглубоко воткнул ножик и, ведя его так, как это делают, разрезая страницы книги, сделал двенадцатисантиметровый надрез, косо сбегаящий вниз к правому паху. Крови было совсем даже немного.

— Во было бы дело, если б тут пан *командир* лежал, — сказал Казюк.

— Не болтать, держите пинцетами кожу и тампонируйте! — прикрикнул Мечислав.

Руками он раздвинул плоские, дряблые мышцы, идущие наискось по брюшине. Чуть подрезал ее с двух сторон и аккуратно, сдерживая дрожь в руке, добрался пальцами до скользких, округлых кишок. Они были теплыми и, казалось, дышали. Внутренности человека жили своей жизнью. Мечислав снова ощутил приступ страха, но уже не такого парализующего, как перед вскрытием брюшной полости. Так, здесь тонкая кишка, а тут — слепая, и вот он — какое счастье — аппендикс! Есть червеобразный отросток! Величиной с небольшую сливу и такой же формы, фиолетово-желтый — но целый, неразорвавшийся! Только сейчас он почувствовал, как дрожат у него руки.

— Кетгут!

— Чего это?

— Нитки, вот эти толстые!

Казюк и Михайло скорее догадались, чем поняли, о чем идет речь. Уняв дрожь в руках, он действовал теперь как в трансе, будто выполнял чьи-то приказы. Будто какой-то таинственный гипнотизер подсказывал ему, что надо делать. Мечислав слушал его и точно исполнял все указания.

— Тампоны, тампоны! Бросайте, куда попало, только скорей!

Он перевязал отросток в самом узком месте, потом, чуть ниже слепой кишки — еще раз, и между двумя узлами полоснул ножом, отделив больной орган. Вынул отросток и осторожно положил на ватку, как будто это было нечто живое. Так, кстати, всегда поступали лесные доктора, извлекая немецкую пулю из тела раненого. Они ее не выкидывали, а клали на клочок бумажки.

— Иглу, нитки для шитья! Кожу чуть оттяните!

Зашивал он не спеша, делая довольно частые стежки. Закончив, взглянул на старовера — лицо у того было спокойное.

— Больно?

— Шипет, — тихо откликнулся старовер.

Мечислав отмыл руки от крови, вытер их, а потом занялся сердцем пациента. Оно работало. Пульс немного частил и был слабого наполнения. Водянистые, бледно-голубые глаза старовера слезились. На лбу выступили бисеринки пота.



— *Молодец*, — похвалил его Мечислав. Намочив марлевую салфетку в стакане с риванолом, он отжал ее и наложил на шов. Накрыв еще двумя слоями марли, закрепил лейкопластырем, стараясь не давить на брюшную полость. С правой стороны, над бедренной костью, без опасения крепко-накрепко прилепил другой конец пластыря. Он сделал все, что было в его силах.

— *Скажите, доктор, я помру?* — чуть слышно спросил старOVER.

— Нет, жить будешь, — ответил Мечислав и вытер ему лоб полотенцем. — Да, на всякий случай, пока не давайте ему ничего пить. Пусть немного потерпит. Вы поняли?

— Так точно!

Мечислав опустился на табурет, свернул самокрутку и закурил. О чем он теперь думал? О том, что если старOVER умрет, то его, Мечислава Владиславовича, отправят обратно в забой, а то и добавят еще десятку, хотя по их меркам жизнь старOVERа Рыбакова ничего не стоила. Но, может, все-таки не умрет? Инфекция, конечно, попала в кишки и в брюшную полость, тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, человеческий организм все время имеет дело с бактериями — с небольшим количеством, но все же, и даже такой изношенный как-то справляется. Имунная система этого человека, хотя старOVER и вкалывал в забое уже не меньше пятнадцати лет, худо-бедно, но защищала его. Организму надо помочь, а в его, «доктора», распоряжении не было никаких сердечных препаратов. Может, в лагере найдется немного кофе? Да, кофе наверняка найдется, ведь у прооперированного Рыбакова здесь есть единоверцы, они постараются достать. Заварить кофе и давать ему по пол-ложки каждый час. Но что там кофеин, чепуха — здесь необходимы вливания глюкозы, уколы, дигиталис, да хоть бы кордиамин в каплях. А у него ничего, ничего, ничего не было. Лечение самого главного мотора жизни, видно, внутренним распорядком не предусмотрено.

— Что с вами, доктор? — услышал он чей-то голос и очнулся. Он сидел согнувшись, чуть ли не касаясь головой колен, уставившись неподвижным взглядом на сигарку, которая выпала у него из пальцев и погасла. Пол был чисто выметен, испачканные кровью тампоны уже на нем не валялись. Только этот окурочок, слишком ценный, чтоб выкинуть его в помойку. Мечислав выпрямился и огляделся по сторонам. СтарOVER, по шею прикрытый простыней, лежал на столе и, повернув набок голову, смотрел на Мечислава. Его глаза глядели теперь живей, и цвет их вроде бы стал голубее. Казюка не было. Михайло сидел на табурете — на фоне ослепительно белой стены, и тоже на него смотрел.

— Все нормально. Просто я задремал.

— Вы, доктор, не завтракали. Поешьте, еда на печке стоит, еще теплая, наверно.

— А сколько же времени?

— Да уж скоро обед, — ответил Михайло.

— Крикни Казюка, перенесем его осторожно на кровать.

— Казюк пошел за обедом.

— Ладно. Как придет — сразу перенесем.

На следующее утро, до отправки на работу, Мечислав докладывал, что заключенный Иван Васильевич Рыбаков, номер такой-то, не сможет выйти за ворота, потому что находится в санчасти.

— Что с ним? — спросил комендант.

— Лежит после операции. Поправляется.

— Как? После какой операции?

— Аппендицита.

— Что-о? — взревел комендант. — В лагере запрещено делать операции! Под суд пойдете!

— Гражданин начальник, требовалась срочная операция. Во время перевозки аппендикс мог лопнуть, гной разлился бы в брюшную полость — и конец.

Комендант побагровел. Раздулся так, что, казалось, ремень на его брюхе вот-вот лопнет. Но у коменданта было две души почти одинаковой величины, хотя нет — одна из них должна была быть чуть поменьше, потому что одна входила в другую на манер русской матрешки. Одна душа коменданта была переполнена страхом, другая гордыней. Трусость помогала ему подобающим образом строить взаимоотношения с начальством, а гордыня — с подчиненными. Наверняка у него имелись в запасе еще пара-тройка душонок, одна другой меньше и глубже запрятанных, может, даже и некое подобие



патриотизма, который был не чем иным, как русским шовинизмом. Возможно, на самом доньшке скрывалась еще одна, уж точно последняя и никогда не подававшая голоса душонка, сохранившая какие-то человеческие чувства, допустим — сострадание. Хотя сомнительно. Если он и добивал подстреленную на охоте дичь, то не потому, что хотел облегчить ее страдания, а просто для того, чтоб перестала шевелиться. Еще год назад, ба, да всего полгода, о том, что произошло, и речи быть не могло. В лагере не было врача, и старовер Рыбаков наверняка бы уже околдовал и лежал себе тихо-мирно в земле, и ему, *командиру* — меньше хлопот. А теперь надо что-то решать. Последнее слово за ним. И хотя старовер в глазах коменданта значил не больше, чем прихлопнутая на стекле муха или раздавленный на тропинке муравей, заговорившая в нем гордыня требовала, чтоб он рискнул. Ведь не кто иной, как он, комендант, назначил в санчасть врачом этого сукина сына поляка, который в последний момент спас жизнь русскому зеку Рыбакову. Врач-поляк подошел к делу неформально? Просто он не настолько хорошо знает русский язык, мог и не понять инструкции. В конечном счете, так ли уж велика разница между операцией и — как сказано в инструкции — «необходимым незначительным хирургическим вмешательством», то есть таким, к примеру, как вскрытие чирья на заднице? Долго стоял не отзываясь комендант, глядя куда-то в сторону — на бараки, а не на Мечислава. Потом медленно повернул голову и уставился на открывавшиеся как раз ворота. Долго это длилось, очень долго, может, две или целых три минуты. Казалось даже, что комендант задумался о чем-то своем. Наконец Мечислав услышал его голос: он звучал официально, но тон был спокойным, даже равнодушным, будто ничего не произошло.

- Так как, вы говорите, фамилия больного?
- Иван Васильевич Рыбаков, номер 4878.
- Понятно. Ну пусть он у вас там полежит.
- Есть!
- А вы возвращайтесь к своим обязанностям.
- Есть, — ответил Мечислав.

Повернулся кругом и медленно побрел в сторону своей больнички. Тусклое серое небо сыпало снежной крупой, которая предвещала скорый приход очередной зимы. И кто знает — скольких еще зим. И все же у моего друга был повод для лучшего, чем обычно, настроения. У него было такое чувство, будто во имя добра ему удалось одержать победу над злом. Какая победа над злом? Что я плету? Вряд ли ему приходили в голову столь возвышенные мысли. Это пахивало бы литературщиной. Просто он выполнил свой долг как умел и подумать мог только одно: удалось выиграть схватку за жизнь человека. Вот, пожалуй, и все. Но Мечислав наверняка не отдавал себе отчета в том, что его поступок — нечто большее, чем просто бескорыстная помощь одного человека другому, что поступок этот гораздо чище и благородней многих других добрых поступков, поскольку совершен вдалеке от родной страны, от дома и друзей. словно бы на борту затерявшегося в океанских просторах корабля, который, быть может, обречен и вскоре вместе со всей командой пойдет ко дну. И под высоким небом, в тысячах милях от берега не спасется ни один человек, который мог бы рассказать об этом людям.



Корнель Филипович

**Перевод
Марины Курганской**

СОВЕРШЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ

*Мир и без меня пребудет, неспешный и безучастный
Юлиан Пишбось «Уравнение сердца»*

Солнце стояло уже низко, близился вечер. Утром мы собирались покинуть здешние места. Приехали мы месяц назад. Идея принадлежала одному из наших друзей, которому случилось как-то сюда забрести. Он с восторгом рассказывал, что в жизни не видел ничего подобного, и сожалел, что смог задержаться только на час; он охотно остался бы там на целый месяц или даже навсегда. Он говорил: «Есть такие пейзажи на свете, которые помнишь до конца жизни. В них царит мир и гармония, и кажется, нет ничего случайного, все элементы подобраны и скомпонованы кем-то, кто хорошо знал, чего хочет, все замечал, ничего не пропустил, обо всем помнил». Но наш друг подразумевал не Бога; он считал, что необычность этого места обусловлена игрой случая: «Природой правит слепой рок, но иногда бывает, что разнонаправленные и находящиеся в вечном противоборстве силы природы в самый неожиданный момент и в неожиданном месте вдруг достигают состояния равновесия. Борьба тогда прекращается, процесс уничтожения приостанавливается, и в результате этого перемирия рождается удивительная гармония и совершенство ландшафта».

И вот наступил день, когда приятель привез нас сюда на машине. К сожалению, он и на этот раз не смог остаться, но пообещал приехать за нами через месяц. Перед тем, как нас покинуть, он посидел немного в машине, открыв дверцы. Смотрел на деревья и слушал пение птиц. Наш друг — директор солидного учреждения и человек очень обязательный. В тот же день он должен был присутствовать на какой-то важной конференции и поэтому, улыбнувшись нам, захлопнул дверцы и завел мотор. Мы остались одни и принялись устраивать лагерь: разбивать палатки и доставать из рюкзаков и мешков все, что нам было нужно для здешней жизни. Только после обеда мы выкроили время, чтобы осмотреть место, где мы остановились и где нам предстояло пробыть целых тридцать дней. Итак, мы совершили первую ознакомительную экскурсию. Началась она неподалеку от лагеря, оттуда, где высокий, как бы вырезанный ножом берег реки образовывал большой полукруг — дальше в нем появлялись зубрины, заканчивавшиеся длинным, вонзающимся в воду зубом. Потом берег с пологим пляжем долго, словно желая отдохнуть, тянулся плавной дугой; казалось, так будет до самого конца — ничто не предвещало перемен. Река текла спокойно, бесшумно омывая неподвижный берег, пока мы не заметили вдруг камень, погруженный до половины в воду. Неприметный, он, казалось, не имел ничего общего с берегом — но за поворотом из воды торчал второй камень, потом третий, а чуть дальше — огромный гранитный валун, окруженный множеством более мелких, разбитых и раскрошившихся. С этого места береговая линия, прежде ровная и плавная, начинала рваться, лохматиться, распадаться. Река вгрызалась в сушу, терзала ее, выдалбливала ямы, глотала песок, уносила с собой камни, чтобы через сто метров выбросить их обратно. Земля была изрыта, будто артиллерийскими снарядами, и покрыта искореженными останками деревьев. Мы подумали, что дальше идти будет все труднее, еще немного и берег станет совсем непроходимым, придется отказаться от продолжения похода и вернуться назад. Но уже через несколько шагов убедились: то, что показалось нам распадом и уничтожением, было как раз началом нового порядка. Берег поднимался и выравнивался. Валуны — продукты его распада — теперь складывались в подобие опорной стены, защищая сушу от уничтожения. У земли в борьбе с рекой появились новые могущественные союзники — деревья. Их мощные корни крепко врастали в грунт, упрочивая его под нашими ногами. Мы снова могли безопасно и легко передвигаться по твердой земле. Итак, мы продолжали идти вдоль берега, а поскольку никогда раньше здесь не были, все казалось нам в новинку. Каждая мелочь, каждый камешек или веточка были сюрпризом. Элементы пейзажа рассыпались на наших глазах и складывались снова, как в калейдоскопе. Они меняли свое положение, форму, назначение. Помогали каким-то таинственным, неведомым нам силам, чтобы спустя мгновение обратиться в их врагов. Мы не знали ни побудительных мотивов, ни целей этих сил. Впрочем, и не задумывались об этом. Так, не спеша, обошли мы наши владения (они оказались вытянутым в длину полуостровом), увидели их границы и очутились недалеко от места, откуда начали путь и где разбили свой лагерь.

Я начал рассказ с описания контуров нашего полуострова, мне казалось, это необходимо, чтобы читатель мог легче и нагляднее представить себе его форму. Но описание — занятие неблагодарное, чтобы не сказать бессмысленное. Ведь его суть в перечислении, не более того. Разве можно добиться, чтобы читатель сумел



увидеть одновременно и начало, и конец дороги, по которой мы шли? Чтобы мог увидеть, как видел наш глаз, одновременно то, что близко — и далеко? К сожалению, это никому не под силу. Значит, остается одно: двигаться дальше со скоростью пешехода и смотреть близоруким взглядом. Вот как выглядел наш полуостров: он порос редким дубовым лесом, но кое-где деревья стояли так близко друг к другу, что их кроны смыкались над нашими головами и покрывали землю глубокой прохладной тенью. Когда из солнечного пекла мы попадали под эту сумрачную, темно-зеленую, густо сплетенную из веток и листьев крышу — холодный воздух охватывал нас со всех сторон, будто мы погружались в воду, почти ощущая вспотевшей кожей ее ледящее прикосновение. Даже горячий южный ветер, на открытых местах обжигающий, пышущий жаром, словно из печи, здесь, среди деревьев, ослабевал и приносил прохладу и свежесть. Кто-то из нас заметил: «Ни одна палатка так не защищает от солнца, как крона дуба, ведь ткань палатки дает тень одинарную, а завеса из листьев дуба — стократную». Тень от дубов была хотя и очень густой, но все же не абсолютной. В течение дня бывали минуты, обычно ближе к вечеру, когда в кровле из листьев открывались маленькие окошки. Солнце тогда бросало на землю переливающиеся и дрожащие пятна света, которые жили всего мгновение, а потом внезапно гасли, и тогда земля под кронами погружалась в еще более глубокий сумрак и холод. Кроме дубов здесь росли и другие деревья: березы, тополя, сосны, но в небольшом количестве, словно только ради полноты и законченности пейзажа. И две одинокие осины затесались сюда словно лишь для того, чтобы доказать нам: как не бывает абсолютной тени, так нет и абсолютной тишины. Мелкие, подвешенные на тоненьких черенках листики осины отзывались на малейшее дуновение ветра, предугадывали его, а после того, как ветер утихал, еще долго, дрожа и шумя, о нем вспоминали.

Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто будет читать описание этого пейзажа, не представляли себе его как нечто плоское, ограниченное двумя измерениями. Это не картина, здесь есть объем, позволяющий проникнуть внутрь, ходить, двигаться среди постоянно меняющихся видов. Каждый шаг открывал нам какой-то новый путь, каждый взгляд — новую, еще не виданную композицию. Мы ходили туда-сюда, останавливались, наклонялись и выпрямлялись, ложились и вставали, — и все это сопровождалось изменениями пейзажа. Тихими, незаметными, бесшумными, никогда не повторяющимися того, что мы уже видели. Зрелище, разворачивающееся вокруг, как бы не зависело от нас — ни от наших глаз, ни от нашей воли, — ведь даже когда мы были заняты делом: ловили рыбу, носили воду, собирали хворост, мы все равно боковым зрением замечали, как вокруг непрерывно меняются декорации, как каждое движение, поворот тела, даже жест заставляют двигаться окружающий пейзаж. Но мы прекрасно понимали, что эта изменчивость и разнообразие — только иллюзия, ведь в действительности не дрогнул ни один камень и даже на сантиметр не передвинулся ни один ствол. Мир вокруг был завершенным, замкнутым и идеально неподвижным.

Наш приятель был прав, называя это место необычайным (по-видимому, он также хотел сказать, что оно прекрасно). Однако в чем заключалась эта необычайность, он не объяснил. Я пытался это сделать, но, кажется, безуспешно. Может, я сказал слишком мало или — что еще хуже — слишком много? Возможно, я излишне сосредоточился на деталях. Еще добавлю: в красоте этого места было нечто невыразимо тревожное, отчего уже через несколько дней мы стали испытывать такое напряжение, словно нам грозила опасность. Откуда это шло? Может, именно от совершенной красоты ландшафта? Настолько совершенной, что, казалось, она может прожить лишь мгновение, и сразу что-то непременно произойдет. Что через секунду начнется землетрясение, разразится ужасная гроза, случится наводнение, и все будет уничтожено, повалено, смыто с лица земли! Но все оставалось прежним, а тревога не отступала, и в этом постоянном скрытом ожидании проходили дни и недели. А может, ландшафт был здесь не при чем, может, источник беспокойства был в нас самих, в наших мыслях, чувствах, настроениях? В наших амбициях, воспоминаниях, разговорах, о которых я не упоминал, поскольку мне казалось, что они не имеют ничего общего с окружающим нас пейзажем?

Приближался вечер, кончался день. Тускнел свет, гасли цвета, вода в реке темнела и стужалась, как бы поглощая краски деревьев, травы, камней. Казалось, что ее течение постепенно замедляется, вода вытекает и уходит куда-то вглубь, а от реки остается только темный, глухой, зияющий пустотой и холодом яр. Мы довольно долго жгли костер, пока не иссяк запас дров и огонь не погас. На землю спустилась ночь. Еще недолгое время мы слышали какие-то голоса, хлопанье крыльев птиц, устраивающихся спать на ветках деревьев, и тихий шелест тополиных листьев, но вскоре все смолкло.

Рано утром мы свернули лагерь и стали ждать нашего друга, поглядывая в ту сторону, откуда он должен был приехать. В условленное время показался его синий автомобиль, который медленно приближался, мелькая между деревьев. Спустя час мы покидали место, которое наш приятель назвал самым необыкновенным из всех, что видел в жизни, а мы — мы оставляли его без сожаления. Устав от его красоты и совершенства, мы с облегчением думали о возвращении домой, в привычную обстановку, к своим вещам, к своей работе. Когда все уже сидели в машине, приятель сказал:

— Счастливые — смогли тут пожить. Завидую вам.



Корнель Филипович

Перевод
Елены Барзовой
и Гаяне Мурадян

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Раздался резкий короткий треск. Такой звук, будто в воздухе, прямо рядом с нашим окном, сломалась сухая ветка. Было воскресенье, мы обедали. Окно открыто, на подоконнике сидит наш большой серый кот. Погода непонятная — вроде бы собирается дождь, но светит солнце. Ветра не было, деревья стояли неподвижные, только мелкие серебристые листья осины дрожали, ловили легкий ветерок, которого другие деревья не чувствовали. Когда раздался этот треск, кот спрыгнул с подоконника и застыл у стены, перепуганный и удивленный. Я как раз смотрел на кота. Выглядело это так, словно он уже знал секундой раньше, что произойдет: ведь когда затрещало, кот был уже на полу. Все повернули головы и посмотрели в окно. Но на улице было тихо.

— Что это было? — спросила мама.

— Шаровая молния, — ответил отец.

Я встал из-за стола и подошел к окну. Хотя светило солнце, было как-то мрачно. Напротив, на маленькой лужайке, поросшей пыльной травой, стояла белая коза. Она была привязана к кольшку, но не паслась, просто стояла неподвижно и тяжело дышала, поводья большим, обвислым брюхом. Я высунулся в окно и посмотрел вверх по улице; там было светло, как будто солнце только еще восходило. Отчетливо виднелись растрескавшиеся плиты тротуара, бурые кучки лошадиного навоза на мостовой и островки травы вдоль бордюра. Над воротами котельщика Сантария висел на трех цепях черный железный котел. Потом я посмотрел вниз по улице; там было темно, как будто уже вечер. Улица была пустынна, только от ресторации Польдера шел сержант из военного оркестра. Его фамилия была Мазурек, он был очень толстый, и жена у него тоже была толстая. Они медленно шли вверх. Мазурек держал в руке фуражку, его жена несла большую черную сумку. Они шли врозь, как будто поссорились.

— Возвращайся за стол! — строго сказала бабушка.

Я сел за стол и начал есть бульон. Отец смотрел в окно. Бабушка сказала, что, когда была маленькой, видела уже такую молнию. Тогда тоже было воскресенье, и после обеда все вышли из дома полюбоваться на розы, которые расцвели в ту ночь. Бабушка помнила, что были ее братья и маленькая сестренка, которую мама держала на руках. И еще две собаки, они лежали на траве и тяжело дышали, потому что было очень жарко. Отец — значит, мой прадед — как раз закурил сигару, и тут вдруг как треснет! — и в воздухе взорвался большой, светящийся шар. Все это видели и слышали, но ни с кем ничего дурного не случилось. Только на второй или на третий день нашли в лесу убитого человека. Поначалу никто не знал, кто это такой, даже отец ходил на него посмотреть, а потом одна старая женщина сообразила, что человек из этого села, он возвращался домой через двадцать с лишним лет. Служил в армии, мотался по свету — и все для того, чтобы найти смерть на родной земле.

— Не вижу никакой связи с шаровой молнией, — сказал мой отец.

— Кто знает... В мире столько удивительного, — заметила мама.

Взрослые спорили, связаны эти вещи между собой или нет; отец считал, что из-за таких странных событий лучше запоминаются и другие, случившиеся одновременно. После обеда я долго стоял у окна и высматривал что-нибудь необычное. Но ничего не происходило. Я видел, как знакомый мальчик по имени Рудольф, в голубой рубашке, зеленых брюках и новых желтых ботинках, быстро перебежал улицу, отвязал козу и помчался с ней домой. Он всегда так делал в это время. Потом я увидел идущего вниз по улице человека, который не умел говорить. В будние дни этот человек подметал улицу; сейчас он был в черном костюме, на голове черная шляпа. А еще я увидел, как идет знакомый подмастерье столяра, он давал мне задаром обрезки досок для игры. Сейчас подмастерье был пьян, шел, опустив голову, а у велосипеда, который он катил, было перевернуто седло, и велосипед выделял всякие выкрутасы. Все как обычно в воскресный день.

Мне наскучило смотреть в окно; впрочем, вскоре пришел мой школьный друг, и мы до самого вечера играли в солдатки.

Я уже лежал в постели и засыпал, когда услышал, как бабушка кричит, чтобы закрывали все окна, потому что поднимается страшный ветер. Потом засверкало. Я лежал с открытыми глазами и ждал, когда сверкнет, чтобы на миг увидеть ярко освещенную комнату, стол, покрытый клетчатой клеенкой, серебряную сахарницу посередине стола, пустые стулья, на стене — маленькую картину в овальной рамке, которую нарисовала сестра моего отца. Еще я видел сквозь приоткрытую дверь кровать, на которой спал отец, и даже его черные ботинки, стоящие под



кроватю. Но тут же снова становилось темно и несколько секунд я, даже широко раскрыв глаза, ничегошеньки не видел — словно все переставало существовать, а я — один на дне пропасти.

Утром я проснулся и удивился, что никто не велит мне вставать и идти в школу. Неужели еще так рано? В комнате светло, я отлично выспался, из кухни слышны голоса и звяканье посуды. Странным был только шум, доносившийся вроде бы с чердака. Я вскочил с кровати и подбежал к окну: на улице шел дождь. Трудно сказать «шел», потому что такого дождя я еще никогда не видел. С неба на землю текли без продыху тонкие частые струи воды. Вниз по улице бежала мутная пенная река, прокладывая глубокие борозды в гравии. Плиты тротуара уже вымыты дочиста, но их непрерывно поливало водой. Кирпичная ограда и трава — такие яркие, словно их только что покрасили. Я стоял и смотрел, и мне казалось, я вижу совсем не то, что видел в окно еще вчера. И вдруг я заметил нечто небывалое: высокое дерево, которое всегда, с тех пор как я сюда приехал, стояло прямехонько, лежало на земле, вырванное с корнем. Ствол, падая, задел забор и проломил его; огромная гора листьев высилась на чужих грядках, прикрывала чью-то беседку. Я побежал в кухню рассказать про это маме и бабушке, и там узнал, что сейчас девять часов и что я не пошел в школу, так как отец сказал, что льет как из ведра и подобное случается раз в пять лет.

С неба лило с короткими перерывами еще два дня, а на третий день после полудня разъяснилось. На улице появились люди. Они шли быстрым шагом; встречаясь, раскланивались и здоровались за руку, словно увиделись после долгой разлуки. В тот день мне недосуг было бежать к реке, потому что в нашем подвале случился потоп. Отец стоял на лестнице со свечой, а я в отцовских сапогах бродил по воде, вылавливал разные утонувшие вещи и подавал отцу. Потом я успел еще сбежать на площадь перед церковью. Уже стемнело, около мрачной евангелистской церкви дул холодный ветер, но дальше, среди деревьев, было спокойно. На земле лежали толстые сучья, сбитые ветром. На изломе древесины была белая, как кость, и светилась в темноте. Черные, покрытые шершавой корой ветви лежали среди листьев на каменных плитах. Было тихо, пахло мхом и известкой. Наверху, на макушках деревьев, перекликались дрозды. Я хотел выследить, где они сидят, но не смог отыскать ни одной птицы. Между кронами проглядывало прозрачное как стекло небо. Из дома пастора неслись тоскливые, дребезжащие звуки фисгармонии.



Следующие два дня мы почти не учились, все говорили о ливне и наводнении, учителя делились воспоминаниями, мы приводили в порядок школьный сад. После занятий бежали к реке, которая с ревом несла доски, ветви и даже целые деревья, вырванные с корнем. Мутная, покрытая белой пеной вода перехлестывала в нескольких местах через дорогу и растекалась по огородам. На мосту стояли солдаты и баграми отпихивали деревья, зацепившиеся за каменные опоры. Стволы покачивались, не хотели отцепляться, потом течение подхватывало их и утягивало, как щепочки, под воду. Они выныривали далеко за мостом, подпрыгивали, переворачивались, показывая то черные корни, то зеленые листья. Потом, успокоившись, глыбли дальше и исчезали за поворотом реки.

Позже вода в реке начала быстро опадать и туда уже незачем стало ходить, тем более что вода, отступая, оставила на берегу вязкую, топкую грязь. Зато, возвращаясь из школы, я мог понаблюдать за пожарниками, откачивавшими воду из затопленных подвалов. Красная пожарная линейка с насосом и бензиновым мотором стояла на нашей улице. Один конец толстой трубы входил через окно в подвал, из другого конца выбулькивала желтая вода. Возле мотора стоял пожарник и курил трубку. Мотор работал без перерыва, грязная вода текла по сточной канаве и уходила в забранный решеткой сток.

Когда это началось, пожарная линейка стояла как раз рядом с угловым домом, в котором была ресторация Польдера, и откачивала воду из его подвала. Из подвала пахло вином, из окна квартиры Польдеров выглядывал младший Польдер. Он был мой ровесник, но учился на класс старше. Подперев голову руками, он смотрел на мотор. Я уже собирался идти домой, поскольку ничего любопытного не происходило, когда вдруг кто-то сказал, что, должно быть, труба засорилась, потому как вода не идет. Пожарный остановил мотор и пошел посмотреть в подвал. Он не возвращался очень долго, я решил, что, наверное, что-то сломалось, и пошел домой обедать. Потом я делал уроки и только вечером узнал от ребят, что случилось.

Оказывается, труба забилась, и пожарнику пришлось надеть высокие резиновые сапоги и лезть в воду. И тогда он обнаружил того младенчика, который заткнул трубу. Младенчик был голый, совсем крошечный и уже протухший — как говорили ребята. Пришли полицейские и тайный агент Грабовский, собралось много народу, все начали строить догадки, откуда в подвале Польдеров мог взяться мертвый ребенок. Тут кто-то и сказал, что евреи похищают младенцев на мацу; кладут живого ребенка в бочку, утыканную изнутри гвоздями, и катают бочку, и таким вот образом выпускают из младенчика кровь, а потом на этой крови пекут мацу.



Я очень удивился, когда это услышал, потому что не знал, что Польшеры — евреи. У Польшера не было ни пейсов, ни бороды, он не ходил в халате и не носил ермолку, как те евреи, которых я помнил, в наших краях, хотя, правда, в субботу вечером Польшеры не зажигали электричества, только свечи, и над белыми занавесками на окнах по стенам двигались таинственные тени.

Мы всем скопом побежали к ресторации Польшера. Дверь была заперта, стекла в окнах квартиры Польшеров выбиты; острые осколки еще торчали в оконных рамах. Внутри было темно и пусто, как будто там никто не живет. На тротуаре стоял толстый полицейский и беседовал с военным жандармом. Мы хотели заглянуть в открытое черное подвальное оконце, но полицейский закричал: «Чего вам? Чего?! Марш отсюда!» — и мы убежали. Пришел один мальчик, который, как и я, приехал недавно с востока, и сказал, что стекла выбили студенты Сельскохозяйственной академии и какие-то солдаты, потому что полицейский не хотел их пускать внутрь. Мы узнали, что и в синагоге тоже повывивали стекла и что студенты хотели расколотить окна еще и у пастора за то, что тот защищал Польшера и говорил, чтобы евангелисты не лезли не в свое дело.

Мы побежали на другой конец города, к синагоге, посмотреть на разбитые окна. Потом вернулись к дому Польшеров. В квартире по-прежнему было темно, у дверей стоял полицейский и разговаривал с каким-то гражданским. Тогда мы пошли в парк и залезли на дерево, у которого ветви росли очень низко. Стемнело. Из дома пастора доносились звуки фисгармонии, на деревьях перекликались дрозды и скворцы, но все реже. Только один скворец верещал без умолку и очень странно: как будто кто-то точил нож на мокром вращающемся точильном камне. Мы сидели на ветках, как птицы, а мальчик, который недавно приехал с востока, рассказывал, как евреи мучают христианских младенцев, и говорил, что все это описано в их книгах, но такими буквами, что только евреи и могут прочесть. Но один человек, знакомый его отца, научился читать эти буквы и все рассказал. Потом один мальчик постарше стал рассказывать о своей сестре, у которой уже начались месячные, и говорил всякие разные вещи, которые я плохо понимал.

Уже совсем стемнело, когда я услышал, что меня зовет отец. Он шел по парку и время от времени громко хлопал в ладоши. Деревья отражали эхо, и хлопки было слышно очень отчетливо, но я притворился, что не слышу. И только когда отец собрался уходить, я отозвался.

За ужином я стал рассказывать о младенчике в подвале Польшеров. Отец пил чай и читал газету. Когда я дошел до того места, как евреи похищают христианских младенцев на мацу, отец заметил, не прерывая чтения:

— Не говори глупостей.

— Почему? Все так говорят.

— Потому что это глупости, — ответил отец, не глядя на меня.

— И все-таки, что-то там должно было быть. Нет дыма без огня, — сказала бабушка.

— Прекратите, у меня все в желудке переворачивается, когда я такое слышу.

— Когда я была маленькая, я очень часто слыхала о таких вещах, — сказала бабушка.

— Это только мы, дикие люди с востока, способны выдумывать такие истории, — сказал отец и зевнул.

На второй то ли на третий день отец сказал за обедом, что слышал от знакомого судьи, будто ребенок был прислуги Польшеров, а отец — один солдат. Прислуга эта удушила младенца и закопала в подвале, а потом сбежала в деревню. Как раз сегодня ее арестовали и привезли в тюрьму. Но она не хочет признаваться в том, что сотворила с младенцем. А солдат служит здесь, в полку, и ему совсем недолго осталось до гражданки. Но его скорее всего ждет не гражданка, а тюрьма, потому что, вроде как, это он уговорил девушку избавиться от ребенка.

Мама хмыкнула и спросила отца, зачем он рассказывает при мне такие вещи. А я между тем несколько не верил тому, что говорил отец. То, что рассказывали ребята про младенцев в бочке с гвоздями, было куда как интереснее; это было загадочно и пугающе. Впрочем, ребята рассказывали и другие интересные вещи, которые взрослые от меня скрывали. Их истории были необычные, но наверняка правдивые; я это чувствовал, и мои наблюдения это подтверждали. Так, конечно, было и с евреями, только отец не хотел открыто сказать. И вел себя подозрительно: делал вид, будто ему скучны разговоры на эту тему. Он поглядел на меня, зевнул, взял газету и ушел к себе в комнату.

Я стоял у окна и смотрел на улицу: было пусто, дома отбрасывали тень на тротуар. Ветра не было. Деревья стояли спокойно, даже на осине не дрожали листья. На лужайке паслась белая коза.



Корнель Филипович

Перевод Ольги Катречко

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА

Сегодня свежее и ясное утро, я стою в очереди в кассу зоопарка, одного из старейших и самых больших в Европе. Передо мной — японцы в очках в серебряной оправе, молчаливые, вежливые и сосредоточенные; туристы из Индии — смуглые и стройные, как тростник, женщины и мужчины в белых пилотках; какие-то увешанные фотоаппаратами англичане и американцы. Я покупаю входной с прилагающимися к нему за дополнительную плату билетами на посещение аквариума, террариума и нового павильона с обезьянами, а также красочный проспект с планом, который поможет мне сориентироваться в зоопарке. Сажусь на скамейку, мимо проходят те, что стояли в очереди за мной. Французы, негры, арабы. Откуда-то из глубины зоопарка, из зарослей доносится рычание львов и птичий голос. Погода солнечная, но переменчивая. По небу плывут небольшие облака, то и дело заслоняющие солнце. Колорит зелени меняется: на траву ложатся тени, они то густеют, то светлеют. В зеленой траве огоньками вспыхивают и гаснут цветы. Я изучаю план зоопарка, обдумываю маршрут и радуюсь, что через минуту увижу знакомого льва, который, быть может, соблаговолит повернуть голову и удостоить меня взглядом, буду долго стоять и любоваться гибким, блестящим от воды телом тюленя и его невероятно ловкими движениями. Увижу орла и черепаху. И неподвижного, словно отлитого из бронзы и покрытого вековой патиной, крокодила.

Подняв глаза, я увидел стоящего на дорожке, прямо передо мной, розового фламинго. Он появился незаметно, тихо, как дух, верно, вышел из камыша, разросшегося по берегам водоема. Стоял на своих длинных и тонких, как былинки, ногах и смотрел на меня. Я протянул ему ладонь, пустую, мне нечего было дать, и, кажется, улыбнулся. Фламинго отступил на шаг, но не ушел. Возможно, он и не просил ничего, только хотел поздороваться? Когда я поднялся со скамейки, собираясь уйти, фламинго остался стоять там же, посреди дорожки, смотрел, но с места не двигался.

Я шел по дорожке среди удивительной, наполовину привычной, наполовину экзотической растительности, вдоль шпалеры красных, с стриженной кроной в форме геометрических фигур буков, мимо кедров и вязов, стройных, серебристых, будто припорошенных снегом канадских елей и берез с нежными, гибкими ветками и светло-зелеными листочками. В близком соседстве росли деревья Средиземноморья и дальнего севера, альпийские лужайки расположились под пальмами. Нередко потом я возвращался в мыслях к тому пустяковому событию — встрече с фламинго, который, не обладая особо интересными свойствами, служит неперемным ярким украшением любого уважающего себя зоопарка, не более того; я вспоминал эту встречу, потому что за ней последовали события более важные. Возможно — и даже наверняка, — не будь той встречи с фламинго, я бы не стал свидетелем одной поразительной сцены и не увидел бы того, что и является темой этого рассказа. Короче, фламинго дал толчок некому несложному мыслительному процессу, и в итоге я изменил маршрут осмотра зоопарка. Размышлял я приблизительно так: фламинго покинул свою стаю, что довольно странно. Должно быть, это какая-нибудь нетипичная особь, с отклонениями от обычных норм поведения, либо птица когда-то болела или была ранена и ее лечили изолированно от других, отчего она приобрела новые условные рефлексии, что и заставляло ее надеяться больше на человека, чем на стаю, рассчитывать на особенно вкусный или внушительный кусок. А может быть, фламинго был чьим-то любимцем, и его покровитель появлялся здесь именно в это время, приходил сюда его кормить? Следующей моей мыслью было: но ведь посетителям запрещено кормить животных, об этом предупреждают таблички, и в справочнике так написано. И затем: я ни разу не видел, как звери в этом зоопарке едят. Может, стоило бы посмотреть? В проспекте было указано официальное время, когда животные получают корм: 9-10 — обезьяны; 10-11 — кошачьи, то есть львы, тигры, пумы; 11-12 — крокодилы, аллигаторы, прочие земноводные и рептилии, а также рыбы. Поначалу я собирался осматривать зоопарк в соответствии с систематикой животного мира в природе. Впрочем, чаще всего именно так я и поступал — сказывалась привычка старого натуралиста. Потому и сегодня я предполагал начать с аквариума, с беспозвоночных, разнообразных красочных и диких кишечнополостных: губок, кораллов — фантастических, бесформенных; кажется, все они — игра случая или каприз природы, или ее декоративный материал, украшение морского дна. Ковры, букеты, праздничное убранство подводных салонов, пещер и гротов. А уж потом, на их фоне, я начну рассматривать рыб самых причудливых форм, являющихся уже созданиями организованными, — и так, постепенно, я увижу всё: от змей,



ящериц, крокодилов, рыб и птиц до животных, нам близких, которые перестали быть невольниками окружающей среды, игрушкой сил природы, которые уже кое-что чувствуют и понимают. В этом путешествии мне пригодятся знания, полученные в одном очень хорошем польском университете, и всё то, что я узнал из книг. Я лишний раз смогу убедиться в том, что примитивная вакуоля, пульсирующая внутри прозрачной клетки простейшего организма, когда-то станет настоящим сердцем, а одиночный нервный узел — мозгом. И что тела и органы, в них сокрытые, сделаются более совершенными, движения животных осмысленнее, действия сложнее, а жизнь богаче.

Взглянув на часы, я обнаружил, что сейчас как раз половина десятого. Через минуту посмотрел еще раз и сообразил, что если я начну осмотр, как запланировал вначале, с аквариума, то вообще не увижу, как животные едят, поскольку до обезьян доберусь лишь к полудню, а кормить рыб и крокодилов еще не настанет время. То есть выбрав путь, соответствующий систематике животного мира, я потеряю возможность увидеть то, что не так часто случается наблюдать в зоопарках, а именно: как животные едят, выхватывают друг у друга куски, привередничают, кормят детенышей. А потому я повернул направо — и самое существенное, ради чего написан рассказ, только сейчас и начинается. Написанное мною до сих пор не так уж и обязательно. Я всегда придерживался мнения, что необязательные места не безвредны для всего остального: они затемняют, разрушают главное. Но зачем тогда я все это написал? Хотя обычно я с легкостью черкаю свой текст, не знаю сам, что не позволяет мне сейчас поднять руку на эти строки. В общем, в виде исключения оставим все необязательное, будем считать, что рассказ начинается только здесь.

Я пошел направо по дорожке мимо круглого газона, обсаженного цветущими кустами желтых роз, и между коричневато-серыми стволами каштанов увидел обезьяний городок: белые стены павильонов, зарешеченные вольеры, кульятые, безлистные стволы деревьев, миниатюрные подобию скал. Посреди всего этого возвышалось внушительных размеров, недавно построенное здание, предназначенное для горилл. Здешний зоосад гордился своими едва ли не лучшими в мире достижениями в их разведении. Самой высокой рождаемостью и самой низкой смертностью. Благодаря новой системе питания и современным методам лечения, крохотные, но зловредные бактерии, вызывающие воспаление легких, перестали валить с ног двухсоткилограммовых самцов, самки перестали преждевременно рожать мертвых малюток, а их потомство избавилось от рахита и не умирало от поноса. Обезьяны росли здоровыми и крепкими, и можно было надеяться, что доживут до преклонных лет. Один журналист, с которым я беседовал два или три дня назад, рассказывал мне, что у научных сотрудников, курирующих этот зоосад, есть и другие далеко идущие, смелые планы. Результаты изучения психологических особенностей наших ближайших родственников (так он них назвал) держатся пока в тайне, но должны вызвать сенсацию. Мой собеседник, конечно, не был биологом и имел весьма смутное представление об этой науке. Думаю, он хотел лишь убедить меня посетить зоопарк, являющийся достопримечательностью города, и рассказывал подобные истории каждому иностранцу. В моем случае необходимости в этом не было, поскольку я и без его уговоров пришел бы сюда днем раньше или позже.

Я еще присел ненадолго на скамейку, уже неподалеку от жилища горилл, чтобы, прежде чем туда войти, выкурить последнюю сигарету, и стал рассматривать сооруженные под открытым небом из камней, скрепленных цементом, искусственные скалы Гибралтара, среди которых обитали последние обезьяны Европы. Павильоны, разбросанные между деревьями и живыми изгородями, заселяло множество обезьян, больших и маленьких, разной породы, наших близких и дальних родственников. Некоторые были нам столь далекой родней, что больше походили на медведей, рысей, ласок и даже крыс, чем на обезьян. Но внешность обманчива. Анатомия, морфология и физиология предоставили нам сведения об обезьянах, не позволяющие причислить их к медвежатам, кошкам или грызунам. Я докуривал сигарету, размышляя о всяких таких вещах, а вернее, позволив своему воображению легко и непринужденно выстраивать цепочки ассоциаций — как вдруг я увидел поблизости от себя два больших автомобиля, черный и белый, резко затормозившие у входа в павильон с гориллами. Это были, по-видимому, служебные машины, потому что подъехали они от ворот по главной аллее, где движение транспорта было запрещено. Из машин вышли мужчины, один в белом халате, и торопливо вошли в павильон. Я не совсем точно это описал, на самом деле всё происходило следующим образом: от группки приехавших отделился и направился вперед седой пожилой мужчина в охотничьих сапогах на толстой подошве, в клетчатом пиджаке и вязаной шапочке; он вошел первым, а уж за ним — человек в белом халате и все остальные. Я подробно останавливаюсь на деталях лишь потому, что в этой короткой сценке, в автоматизме движений, соблюдении некоего — пускай скомканного и торопливого — ритуала у входа было что-то, заставившее меня немедленно встать и последовать вслед за входящими в павильон. Когда я был уже у дверей, меня обогнал человек в форме — то ли сторож, то ли пожарник. Он запыхался, должно быть, бежал. Сейчас он замедлил шаг, но на пороге довольно резко оттолкнул меня локтем, заставив посторониться. Была, видимо, какая-то важная причина, объясняющая его таинственную поспешность.



Что-то там, внутри здания, происходило или уже произошло. Только вот что? Несчастный случай, преступление, похищение? В напряженном драматизме момента было что-то загадочное, как в кинохронике, и предвещавшее продолжение развития событий, в ходе которых, вероятно, всё прояснится: мы увидим, как вынесут кого-нибудь, тяжело раненного или мертвого, выведут преступника. В свете вспышек на долю секунды появится преступник в наручниках, которого выведут под руки полицейские, крупным планом выплывет его лицо, хмурое или с глуповатой ухмылкой, или пустое, ничего не выражающее. Мы станем свидетелями одного из тех зрелищ, на которые не скупится наша действительность. Очередного мига изумления и ужаса, вызванного чем-то страшным и бессмысленным, что снова произошло с нами, людьми.

Однако, войдя в помещение, я в первый момент почувствовал некоторое разочарование — там ничего не происходило. Тишина, полумрак, только за бронированным, большим и длинным, как экран в панорамном кинотеатре, стеклом, замыкающим жилую часть обезьянника, было светло. Немногочисленные посетители стояли группками и смотрели на обезьян. Некоторых вообще не интересовали животные. Они изучали развешанные по стенам таблицы, на которых были отмечены места обитания обезьян на обоих полушариях. Фигурки обезьян были изображены на фоне скал, на берегах рек, на ветвях раскидистых деревьев. И хотя земля, деревья, скалы и животные были показаны схематически, тем не менее складывалось общее представление о внешнем виде и среде обитания обезьян. Мужчины, которые минуту назад вышли из машин и так поспешно сюда проследовали, стояли в сторонке и мирно беседовали, сейчас они даже не разговаривали, а слушали, что им говорил пожилой господин в охотничьих сапогах и спортивной шапочке. Один — который был в белом халате — что-то старательно записывал в блокнот. Всё было спокойно, ничего не происходило. А может, уже всё кончилось? Преступление совершено, труп вынесен, кровь смыта, преступник схвачен? Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы понять, что произошло. То, что произошло, еще продолжалось. На фоне белых, выложенных кафельной плиткой стен, резко выделялись огромные, грузные тела горилл, застывшие в полной неподвижности. Выглядело это так, словно за стеклом находились не живые звери, а лишь увеличенные до небывалых размеров их моментальные фотоснимки. Картина была четкой, ясной, но неподвижной. Казалось, остановлено и запечатлено короткое мгновение, и оно навсегда сохранится таким, поскольку ничего в нем изменить уже невозможно. Однако в этой сцене не было ничего хаотического или случайного, она, точно пантомима или живая картина, имела некую композицию, свою драматическую концепцию. Как будто животные, прежде чем застыть в каталептическом оцепенении, заняли предусмотренные сценарием места и приняли соответствующие позы. Совершенно неподвижные? Простите, не совсем так. Моя память все же зафиксировала едва заметное движение — словно на фотографии одно место получилось нечетким, немного смазанным из-за того, что кто-то шевельнулся во время съемки. В какое-то мгновение сидящий на руках у своей мамы-гориллы малыш повернул голову, чтобы взглянуть на нас, людей, но рука матери тут же заслонила, прикрывала ему глаза и повернула его лицом к стене. Это был единственный момент, когда в картине что-то шелохнулось, дрогнуло, а потом всё снова стало прежним: мертвой картиной, как в стереоскопе, массовой сценой в финале спектакля, безликой неподвижностью солдат, отдыхающих после боя, кошмарной оцепенелостью музея восковых фигур, — не знаю, как бы это назвать и с чем бы сравнить... Было одновременно в этой сцене и что-то патетическое — но ведь животным не присуще ничто возвышенное, эту категорию человек придумал для себя. Тела, окаменевшие, как изваяния. Тела, припавшие к гладким стенам в позах мучительного самоистязания. Дети, замершие в объятиях матерей. Головы, подпертые руками. Глаза, открытые, но не глядящие на нас, людей, а уставившиеся на какую-то трещину в стене, на пятно или же в пустоту. Конечности, застывшие без движения. Руки, согнутые в запястьях, бессильно повисшие, выражающие беспомощность, безнадежность. Кто это? Приговоренные к смерти несчастные, которые, выслушав приговор, ждут, когда он будет приведен в исполнение, потому что надежды на помилование у них нет? Ах, да, еще одна деталь, возможно, и не очень важная: корм, который им принесли, видимо, минуту назад, остался нетронутым. Белые пластиковые тазы полны были салата, моркови, бананов, апельсинов, орехов. Коллективная демонстрация, акт протеста — но против кого или чего? Я стоял и смотрел. Не знаю, сколько это продолжалось. Очень долго или очень коротко. То мне кажется, что с момента, когда я увидел эту сцену, до минуты, когда я покинул павильон, прошло бесконечно много времени, а иногда, что — считанные секунды. А голос из мегафона, призывающий посетителей покинуть павильон, прозвучал сразу же, как я вошел, или спустя много-много времени? Просьба покинуть павильон была затем повторена по-английски и по-французски и весьма категорическим тоном, все стали выходить, вышел и я. Отойдя на пару шагов, я услышал, как позади со скрипом повернулся ключ в замке и лягнула задвигаемая решетка. Я обернулся: это закрывали за нами входные двери. По правде сказать, если перевести на механическое время, то есть время, которое отмеряют часы, мое пребывание в павильоне продолжалось не более двух-трех минут.



Я шел поallee обезьяньего питомника, приостанавливаясь возле клеток и вольеров, разглядывая обезьян родом из Африки, Азии и Америки. Коренастые, неуклюжие и грациозные. Хвостатые и без хвостов. Самой разной масти: коричневые и серые, белые, палевые, серебристые. Они находились в непрестанном движении, заставляя непрерывно работать свои мышцы: перебегали с места на место, прыгали, гримасничали, любовались собой и призывали любоваться ими людей. Они были безошибочно точны в движениях и гениально изобретательны в прыжках, пируэтах и увертках, но из-за рассеянности и постоянной внутренней несобранности забывали о том, что делали минуту назад. Сбивались с толку и роняли предметы. Теряли логическую нить, чтобы через минуту ее найти — и тут же вновь потерять. Минуты раздумья — у них они тоже случались — были чересчур коротки, чтобы какая-то мысль завладела ими всерьез. Пространство, в котором перемещались животные, было огорожено стенами, решетками, рвами с водой, то есть свобода движения в силу обстоятельств была ограничена. Все комбинации их движений были давно уже исчерпаны и теперь могли лишь повторяться, как движения заключенного в камере, как прыжки птицы в клетке, как кружение рыбы в банке. Меня утомила их суетливость, от которой кругом шла голова. Их неразумность, бесстыдный публичный эротизм. Мне всё это надоело, я не хотел больше на это смотреть.

Я покинул этих беззаботных бедных зверьков, которые свыклись с неволей и против нее уже не бунтовали. Отсутствие памяти и воображения облегчил им процесс приспособления. Я вернулся к павильону с гориллами. Вход был загорожен решеткой, на ней повесили табличку с надписью: „Закрѳто”. Люди останавливались, читали объявление и, ознакомившись с его содержанием, шли дальше. Но мне было известно то, что скрывалось за этой надписью. Я остановился, приложил ладони к глазам — и мне удалось через решетку и толстое двойное стекло еще раз увидеть эту потрясающую сцену. Обезьяны оставались в тех же позах: тела, застывшие в бездействии, в оцепенении. Ничто не изменилось в этой сцене, только картина стала меньше, как будто я смотрел на нее в перевернутый бинокль или совсем издалека.

Я так и не знаю, что там стряслось. Никто не смог мне дать убедительного объяснения. Один мой знакомый, профессор, занимающийся физиологией позвоночных, назвал это явление ступором, но признался, что неизвестно, может ли в мире животных коллективный бунт проявляться в такой форме. На мой вопрос: неизвестно или почти неизвестно?, профессор ответил не очень уверенно: „Пока, кажется, неизвестно”. Другой мой знакомый, биохимик, высказал мнение, что это мог быть результат передозировки каких-нибудь лекарств — нейрорелптиков, гормональных препаратов или даже антибиотиков. Однако оба вынуждены были согласиться с тем, что эти крупные приматы, как их называют в зоологии, — сложные животные, что в своем развитии они очень далеко ушли от дождевого червя и ящерицы и что можно предполагать наличие у них психики, а значит, и психических заболеваний. К черту тех, кто всякое отклонение от нормы считает исключительно проявлением патологии! Почему бы просто не признаться, что однажды, возможно, в то самое обычное спокойное утро, в медленном, незаметном развитии этих животных произошел скачок, который превратил их в существа мыслящие, чувствующие, осознавшие свою участь, глубоко несчастные? Что в них словно вдохнули душу — и они почувствовали, что жить в неволе им больше не вмогуту. Им уже не хотелось кричать, валяться, дергать решетку и грызть железо — они решили, что отныне будут молчаливо и бездейственно протестовать против комфортной подневольной жизни, которую устроил им человек. Что они не желают больше жить в тюрьме, выложенной белым кафелем, в тюрьме, столь же чистой, сверкающей и гигиеничной, как приемный покой в туберкулезной больнице Осло или туалет в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Не желают, чтобы их насильно избавляли от страхов, неудобств, страданий. Они хотят темной тропической ночью, прижавшись друг к другу на ветвях высокого дерева, дрожать от страха, услышав рычание вышедшего на охоту хищного зверя. Хотят оплакивать смерть своих детей и братьев. Зализывать свои раны, останавливать кровотечение, приложив к ране большой лист баобаба. Хотят путешествовать, кочевать вместе с детьми с места на место, знакомиться с неведомыми краями, с радостью узнавать места, в которых уже бывали. Они хотят голодать и наедаться досыта. Переживать песчаные бури и тропические ливни. Победы и поражения.



Корнель Филипович

**Перевод
Марины Курганской**

СВЕТ И ЗВУК, ИЛИ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МИРА

Не знаю, откуда я взялся. Из ночи, тумана, забвения? Из таинственных шорохов, неясных, расплывчатых картин, незнакомых запахов? Не знаю — мне было и так хорошо, и ни думать, ни вспоминать ни о чем не хотелось, хотя минул мне уже, кажется, четвертый год. Я был, и все тут. Укладывался спать, вставал, пил молоко и ел хлеб из кукурузной муки. Одевался, подходил к окну и смотрел во двор. Видел все, что происходило вокруг, слышал человеческую речь, лай собак и пение птиц.

В то время мой отец еще не вернулся с войны, мы жили втроем, с матерью и бабушкой, лишь изредка к нам заходил хромой и лысый, зато в большой соломенной шляпе, пан Добруцкий, который был учителем, хотя не учил ни в какой школе, а только ловил рыбу. Пан Добруцкий, направляясь — чаще всего днем — на рыбалку, останавливался около нашего дома, ставил два длинных белых удилища так, что они опирались о крышу и были видны из окна, заходил к нам и пил чай. Иногда, если выдавался хороший денек, мы с бабушкой провожали пана Добруцкого на рыбалку, но всегда только до старого дуба, который рос прямо на обрыве, поэтому часть его корней висела в воздухе. Мы присаживались под дубом, пан Добруцкий закуривал, потом брал свои удочки и спускался вниз. В том месте, где рос дуб, поля кончались, обрывались внезапно, дорога сворачивала, шла под уклон и терялась в лугах, среди кустов и камыша. Мы с бабушкой смотрели, как пан Добруцкий идет через луг, мимо стада бело-рыжих коров, которые щипали траву или просто лежали. Когда пан Добруцкий проходил недалеко от них, они поворачивали вслед ему голову. Пока он пересекал луг, его было очень хорошо видно, не приходилось сомневаться, что это он. Правда, он становился все меньше, однако, мы по-прежнему знали, что это пан Добруцкий. Но потом он входил в высокие травы и еще заметнее укорачивался, уже только его большая шляпа мелькала среди кустов, и, наконец, исчезал совсем, только иногда с того места, где он пропал, срывалась пара диких уток или целая стая более мелких птиц, которые назывались, кажется, бекасами. Описывая в воздухе круги, они поднимались все выше, постепенно уменьшаясь, пока совсем не растворялись в небе. Я следил за птицами и видел их гораздо дольше, чем бабушка, но в конце концов и я терял их из виду. Возвращаясь с рыбалки, пан Добруцкий заходил к нам, но к этому времени я чаще всего, уже поужинав, лежал в кровати и ждал, когда в окне покажется большая золотистая луна. Пан Добруцкий оставлял нам плоскую, покрытую серебряной чешуей рыбу, называвшуюся лещ, пил чай и уходил, или я засыпал. На следующий день, если была хорошая погода, мы опять провожали пана Добруцкого, садились под дубом и смотрели, как пан Добруцкий идет, удаляется от нас, делается все меньше и исчезает. Мне ужасно хотелось пойти с ним на рыбалку, но бабушка говорила, что там очень опасно, нужно знать, куда ступать, иначе можно увязнуть в болоте и уже никогда не вернуться домой. Так что сидел я под дубом и смотрел туда, где должна была быть река, прячущаяся за кустами и камышом. Оттуда, с реки, доносилось кваканье лягушек и пение птиц; иногда поднимался ветер, и тогда их голоса были слышны еще лучше. Я разглядывал сухие листья и лежавшие на земле желуди, вблизи они были видны мне во всех подробностях, я даже различал разных червячков, насекомых — их глаза, крылышки, ножки, как они карабкаются вверх по травинке, бегут, куда-то спешат, останавливаются, поднимаются в воздух и улетают. Потом я снова смотрел на реку, над которой кружила на неподвижных крыльях большая птица. Ветер, налетавший иногда с той стороны, касался моих щек и волос, я вдыхал его удивительный запах, отдававший ароматом скошенной травы, малины на тарелке, земли, грибов, дождя, — и снова мне ужасно хотелось очутиться там, но в то же время я побаивался, что если я туда пойду, такой маленький, то совсем исчезну, и никогда меня уже не будет, а это в мои планы никак не входило. Поэтому я лишь смотрел в ту сторону или, для разнообразия, наклонялся к земле и с близкого расстояния разглядывал камни, растения, насекомых.



Однажды, когда я так сидел под дубом, а пан Добруцкий докуривал свою папиросу и вот-вот должен был уйти и исчезнуть среди трав, я пережил неожиданный острый страх. Кругом тишина и покой, небо чистое, без единого облачка, а воздух такой прозрачный, что, казалось, я видел еще дальше и лучше обычного — тут-то и произошло непонятное и ужасное. Но обо всем по порядку. Сначала я заметил, что по дороге мимо нас идет мужик и ведет на веревке корову. Корова идти не хочет, упирается, останавливается, крутит головой, вырывается и норовит боднуть хозяина. Сзади идет баба и погоняет корову длинным тонким прутом. Они миновали нас, свернули и начали спускаться к лугу, туда, где спокойно паслись коровы. Но корова, которую вели мужик и баба, совсем не была похожа на тех: намного крупнее их, лобастая, с большим животом и огромным выменем, а самое главное, — не бело-рыжая, как они, а черно-белая. Но это бы еще ничего. Так вот, шли они себе через луг, мимо рыжих коров, которые все как одна подняли голову и уставились на новенькую, черно-белую. Мужик с бабой остановились, баба взяла конец веревки, обмотанной вокруг коровьих рогов, а мужик принялся вбивать в землю кол, колотя по нему большим деревянным молотком-киянкой. Вот тут и началось то непонятное и страшное. Хотя я был довольно далеко, но видел все совершенно ясно. Видел, как молоток поднялся и ударил в расплющенный сверху разлохмаченный кол. Вокруг все было как всегда, но уже начиналось что-то нехорошее: я видел, как молоток ударяет по колу, касается его — но звук удара раздается гораздо позже, будто это не мужик бьет молотком, а кто-то другой, невидимый. Привидение?! Я огляделся по сторонам, даже на бабушку посмотрел. Пан Добруцкий еще не ушел, объяснял моей бабушке, что сегодня клева не будет, погода меняется; потом они заговорили о священнике, у которого пан Добруцкий жил. Беседовали спокойно, ничего не замечая. А там, на лугу, дело приняло совсем скверный оборот: теперь сначала слышался удар, а потом только мужик бил молотком по колу! Творилось нечто страшное, что-то сломалось, распалось, рассыпалось — у меня в голове, ушах, глазах? Или вообще на свете? Чуть не плача, я выдавил:

— Что они делают?

Бабушка взглянула на меня и спросила:

— Кто? Где?

Теперь я был уже уверен, что это не мои глаза и уши испортились, а в окружающем мире — в воздухе и на земле — что-то не так. Кол уже почти до половины вошел в землю, а мужик все бил по нему большим ватным молотком. И, по-прежнему с опозданием, доносился — неизвестно откуда — звук удара. Я показал пальцем и сказал громко:

— Этот человек бьет молотком, но когда ударяет, не слышно!

— Как это не слышно? Что с тобой? — бабушка смотрела на меня встревоженно. Смотрел на меня и пан Добруцкий.

— Слышно, но это не он ударяет, а кто-то другой! — крикнул я в отчаянии.

Пан Добруцкий обернулся на мужика, вбивающего кол, потом рассмеялся и сказал:

— Звук опаздывает. И правда, забавно. Мир несовершенен...

— Да, да, — припомнила бабушка, — вот когда молотят цепями, или когда паровоз свистит...

— Совершенно верно. Ну, мне пора. А рыбы сегодня не ждите. Целую ручки, сударыня! До свидания, маленький Архимед, вернее, Пифагор!

— До свидания, загляните к нам просто так, без рыбы.

— До свидания, — сказал я.

Пан Добруцкий взял свои белые удочки, осторожно спустился по косогору и стал удаляться, постепенно делаясь все меньше. Вокруг снова стало тихо и спокойно. Мужик больше не бил по колу, а привязал к нему корову, потом они с бабой немного постояли, глядя на нее. Но эта корова, черно-белая, не хотела есть траву, а все смотрела на других, которые свободно ходили по лугу от нее поодаль. Бабушка сказала, что нечего тут торчать, и мы пошли домой. Я не сопротивлялся, и послушно шагал рядом, примолкнув, так что бабушка даже забеспокоилась, потрогала ладонью мой лоб и спросила, чего это я сам не свой, уж не заболел ли? А я вовсе не был не свой и не заболел, просто мне было грустно, и мысли разные одолели.



На следующий день лил дождь, и еще несколько дней, поэтому мы не провожали пана Добруцкого на рыбалку, а когда прояснилось, появился пан Добруцкий, без удочек, и сказал, что с утра слышна артиллерия. Я тогда спросил, а видна ли эта артиллерия, но бабушка, невесело рассмеявшись, заметила, что еще не хватало, чтобы была видна. Если б она была видна, то было бы уже поздно. На другой день утром, уж не знаю как, я вместе с матерью, бабушкой и паном Добруцким очутился на телеге с нашими чемоданами и белой плетеной корзиной пана Добруцкого, но без его удочек. Наверное, они остались у реки. Ехали мы, кажется, к тете Казе на запад. Сначала прибыли на станцию, где уже стоял очень длинный поезд, а вокруг него — толпа людей. Бабушке и маме как-то удалось влезть в вагон, меня просунули через окно, а потом пан Добруцкий подавал, тоже через окно, наши вещи. Бабушку усадили, я должен был сесть к ней на колени, а мама — стоять рядом, но мне хотелось смотреть в окно. Люди бегали вдоль поезда, подпрыгивали, заглядывая в окна вагонов, кричали, размахивали руками. Один еврей в лохмотьях, подпоясанный веревкой, смеялся, пел и гримасничал. Безобразный, грязный, заросший, сквозь прорехи голое тело просвечивает, из уголков рта течет слюна. Я отвернулся и стал смотреть на черный локомотив с большой трубой, откуда валит дым. Поезд был очень длинный, а путь изогнут дугой, поэтому локомотив был хорошо виден. Вдруг я заметил, как с его крыши сильно бьет вверх белая струя пара, отрывается от черного локомотива — и только потом я услышал громкий свист. Люди принялись кричать еще громче, бабушка схватила меня сзади за помочи, чтобы не выпал из окна, и тоже кричала, что пан Добруцкий куда-то пропал, но моя мама сказала, что ему удалось пробиться и сейчас он стоит на площадке. Снова раздался свисток, а через мгновение белое облачко выскочило из локомотива и взлетело вверх, потом еще одно, и еще.

— Шапку держи! — крикнула бабушка.

Я придержал рукой свою бескозырку с ленточками и почувствовал, что мы едем. Люди на перроне стояли, кричали, махали руками и платками. Безобразный, весь в грязи, еврей плакал. Все эти люди на станции, стоя на месте, двигались назад. Мы ехали вперед.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, едем, — сказала моя бабушка. Я высунулся и увидел еще несколько белых облачков, отделяющихся от локомотива, но свистков уже не было слышно. Поэтому я уселся к бабушке на колени, откуда тоже было хорошо видно, и сказал:

— Мир несовершенен.

Конечно, скорее всего, я просто хотел сказать, мол, вот он какой — этот мир или что-то в этом роде, а не то, что он несовершенен, но дама, сидевшая напротив нас, услышала мои слова и воскликнула:

— Боже правый, что этот ребенок несет?!

— Что ты сказал? — спросила бабушка.

— Ничего.

— Он первый раз едет на поезде, — сказала моя бабушка даме, которая сидела напротив.

Я взглянул на нее: розовое лицо, голубые удивленные глаза, на голове большая соломенная шляпа с двумя красными вишенками, но не настоящими, а из чего-то сделанными. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Я сидел неподвижно, а за окном мелькали всё новые картины, сменяя одна другую. Я огляделся: все, как и я, сидели или стояли неподвижно, только какой-то господин хотел попасть в другой конец вагона и очень медленно проталкивался сквозь толпу людей, теснивших в проходе. Я снова стал смотреть в окно: дома, поля, луга, леса — убегали назад, возвращаясь туда, откуда мы отправились в путь.



Корнель Филипович

**Перевод
Дмитрия Веденяпина**

● ● ●
Между весной и осенью
Предчувствием и свершением
Мыслью и формой
Вопросом и ответом
Словом и вещью
Вспышкой и громом

И даже страницей и страницей
Травинкой и травинкой
Предрассветной мглой и рассветом
Минутой которая прошла и той что еще длится
В нас и вне нас
Всюду

Притаилось что-то особенное
Нечаянное негаданное и непонятное

Что-то неуловимое
Может быть просто иллюзия
А может предвосхищение
Небьгтия или вечности
Конца или начала

Это что-то настолько тонкое крохотное воздушное
Абсолютно прозрачное
Что как будто и не существует
Ничему не мешает
Ни в чем не препятствует

Пока вдруг
Не захватывает нас целиком
Обещанием
Чего-то великого и неизбежного
Пронзительного и небывалого

Но мы так и не знаем что это
Предвидение или фантазия
Бред или предупреждение
Нам угрожают или стремятся помочь
Хотят погубить или спасти

Растерянные неопытные несовершенные
Мы отвечаем
То криком то молчанием
То проклятием то молитвой
То стопочкой водки то глотком родниковой воды



Владислав Возневич

ЧТО МЕШАЕТ НАШЕМУ ДИАЛОГУ?

История межэтнических отношений на территории, занимаемой Польшей и восточнославянскими народами, стала предметом первого научного рассмотрения в трудах некоторых польских историков еще в XVIII веке (Ю.Залуский, А.Нарушевич), а в России эта тема была наиболее полно отражена (в рамках шкалы имперских ценностей) в «Истории государства Российского» и других трудах Н.М.Карамзина. Известно также, что культурно-языковые отношения между этносами в многонациональных государствах в значительной степени определяются политической историей этих этносов и государств. На рассматриваемой территории эти отношения определялись многовековым польско-русским соперничеством и постепенным вытеснением польского господства, завершившимся разделами I Речи Посполитой. Второй исторический этап — это более или менее репрессивная гегемония, а фактически великорусское иго. К новейшей истории относятся двадцатилетие независимой II Речи Посполитой и оставившие после себя незажившие раны годы попеременной советско-германской оккупации, завершившиеся болезненной утратой земель за Бугом. Сегодня с исторической перспективой, а в особенности перед лицом балканского синдрома мы относимся к этой утрате уже не столь просто. Наконец самый последний период — это эпоха полусуверенной ПНР, закончившаяся в 1989 г. восстановлением полного суверенитета и национальной правосубъектности. Польско-русские отношения в 90-х годах прошлого века и по сей день характеризуются смесью проявлений взаимопонимания и определенной чуждости.

Это краткое и упрощенное изложение известных фактов польско-русской политической истории я привел здесь потому, что эта история определяет рамки и характер польско-восточнославянских культурных отношений и специфику их восприятия населением государств, расположенных в этом регионе.

Как бы парадоксально это ни звучало, но общий баланс польско-русской политической истории отрицателен как в сознании поляков, так и в восприятии русских, белорусов и украинцев. Этот баланс по обе стороны определяется тремя важнейшими факторами: 1) историческая память, 2) этноцентрические установки в общественном сознании, 3) идейные програм-

мы (доктрины) руководящих национальных элит, а также государственных и негосударственных учреждений.

Что касается первого фактора, касающегося исторической памяти, то у поляков все еще не угасли ни ностальгическое ощущение того, что различные проявления польского присутствия на восточнославянских территориях неуклонно уменьшаются, ни болезненная память о хорошо известном трагическом опыте целых поколений поляков на этих территориях. В сознании русских (как и поляков) доминирует ощущение потерь в самых различных аспектах — территориальном, имперском, экономическом и др. Для определенных элит возвращение России к границам еще допетровской эпохи, а на Украине — к эпохе еще до Богдана Хмельницкого, — это травмирующий факт, воспринимаемый тем болезненней, что все эти события произошли совсем недавно. Осознание подобного положения вещей в сочетании с обеднением большинства населения и различного рода претензиями и притязаниями государств как «ближнего», так и «дальнего» зарубежья, не говоря уже о чеченской проблеме, приводит к состояниям психологической фрустрации и проявлениям национализма.

Второй фактор относится к менталитету, понимаемому здесь как этнически и культурно маркированный способ восприятия окружающего мира (в том числе другого этноса, народа и его государства). Как у поляков, так и у русских, белорусов и украинцев этот менталитет проявляется в специфическом мышлении о внешнем мире, о другой нации, в этноцентрически окрашенном восприятии, а также в различных языковых и неязыковых видах поведения.

В основе определенных ментальных установок лежат две универсальные, свойственные каждому этносу тенденции. Первая из них, глубинная, в определенной степени даже атавистическая, находит свое выражение в установке на различие между «своими» и «чужими» и в стремлении подчинить их себе. Вторая проявляется в уверенной, позитивной установке, в стремлении отойти от сосредоточенного на себе подхода, в способности и желании увидеть и понять точку зрения других людей. Оба эти качества в науке о мышлении связываются с понятием ментальных (мысленных) представлений, которые закрепляются в памяти и



сознании людей и человеческих коллективов в виде образно-ассоциативных представлений (например, образно-вербальные сценарии, связанные с понятием «большевизм») и вербально-высказывательных структур — обозначений, фразеологизмов, выражений (например, с одной стороны, «Великая [Святая, неделимая и т.п.] Русь», «Союз нерушимый...» и «панская Польша», «Курица не птица, Польша — не заграница», а с другой — «русский медведь», «кацап», «москаль», «Иван» либо элитарные выражения типа «homo sovieticus» или «империя зла»). Подобные ментальные представления («lingua mentalis») переводятся на язык мышления и формируют различные типы знания — интуитивного, эмпирического, обиходного, рационального и т.п. Как известно, в повседневном обиходе ментальные представления функционируют в упрощенном виде как социальные стереотипы, проявляющиеся в стереотипных высказываниях и/или суждениях, повторяющихся именовании людей, вещей и их свойств, в языковом и неязыковом поведении, оценочных суждениях и т.п. Известно также, что в основе любого стереотипа лежит определенное знание различного происхождения и с различной степенью ценности/истинности. Определенные стереотипы негативного характера могут в определенных обстоятельствах функционировать как предубеждения. В научной литературе (например, в работах И. Курча) принято различать в межэтнических отношениях автостереотипы, то есть положительные и отрицательные свойства, относимые к собственной нации, и присутствующие в ментальных представлениях гетеростереотипы, то есть положительные и отрицательные свойства, относимые к иным, чуждым этносам/народам.

Известные мне результаты научных исследований, касающиеся гетеростереотипов проживающих в Польше белорусов с точки зрения поляков и наоборот, а также гетеростереотипов русских в глазах поляков — студентов русистики, подтверждают распространенную уверенность в значительном количественном превосходстве взаимно приписываемых друг другу отрицательных свойств и в высоком уровне нейтральности, выражающейся, как можно предположить, в безразличии или амбивалентном подходе. Существующее положение подтверждается результатами рейтингов популярности различных национальностей в глазах поляков.

Подобного рода особенности ментальных установок в регионе, занимаемом Польшей и восточнославянскими народами, не создают благоприятной атмосферы для развития и расширения культурных связей. Однако я не переоценивал бы роль этого фактора. Известно ведь, что, несмотря на несколько десятилетий воспитательной политики, в менталь-

ности жителей Западной Европы по-прежнему присутствуют отрицательные гетеростереотипы — немцев в глазах французов или англичан и наоборот. Достаточно, чтобы возник хоть какой-то спорный вопрос, пусть даже на уровне футбольного матча, чтобы неожиданно ожили отрицательные образы представителей пусть и дружественных наций. И все-таки дела постепенно идут к лучшему. Существенное различие между западным миром и значительной частью мира славянского состоит в постоянном, непрекращающемся формировании в рамках объединенной Европы системы общих, всеми разделяемых ценностей и преодолении проявлений собственного эгоизма. В этом процессе неопределимую роль играет упорная деятельность руководящих элит западноевропейских стран.

И здесь мы доходим до третьего, уже упоминавшегося фактора — идейных программ руководящих национальных элит, а также государственных и негосударственных учреждений (например, церковных в польско-восточнославянском регионе). Нет необходимости доказывать, что отрицательный баланс исторического прошлого *отражается* на концепциях и понятиях, используемых в этих программах, тем более что значительная часть этого прошлого прямо или косвенно входит в личный опыт многочисленных социальных групп и запечатлена в легко оживляемых национальных автов и гетеростереотипах. Говоря об идейных программах (доктринах), создаваемых государственными учреждениями и руководящими элитами, я буду подразумевать фундаментальные идеи и идеологические концепции, касающиеся положения и устремлений государства/нации в геополитическом контексте, а также системы приоритетных ценностей.

Что касается Польши, то вся эта проблематика сосредотачивается, как известно, вокруг принципов, касающихся безопасности в составе НАТО и вступления в Евросоюз, на базе уже сформированной и непрерывно обогащаемой системы ценностей. Потенциальный источник конфликтов здесь — с одной стороны, неприятие прозападной ориентации Польши у восточных социальных элит, а с другой — определенная несовместимость признаваемой нами системы ценностей и общественно-политических реалий, а зачастую и приоритетной системы ценностей, существующей в восточнославянском регионе. На Украине все, собственно, только зарождается, находится, так сказать, *in statu nascendi*. Белоруссия в социально-культурном отношении и в сфере общественного сознания — это по-прежнему *terra sovietica*. Но прежде всего в этом регионе это относится к России. Несмотря на 150-летнее цивилизационное развитие, она по своей сути по-прежнему напоминает Россию из некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо», Россию, которая ассоциируется с гордой убежденностью в ее загадочности, непод-



властности рациональному пониманию, выраженной в известном стихотворении Тютчева: «Умом Россию не понять...»

Оставляя в стороне захватывающую историко-софскую проблематику, я хотел бы отметить еще только одну проблему, составляющую суть русской доктрины, центральное положение «русской идеи», которая оказывает влияние на общий контекст польско-русско-белорусских культурных связей. Главная констатация, проявляющаяся в идейных устремлениях руководящих элит России, подтверждаемая в трудах историков, лингвистов, культурологов, политологов и в публичном дискурсе, заключается в возвращении к извечной национальной доктрине в ее традиционном русском звучании при отбрасывании языково-символического коммунистического камуфляжа. Как известно, исходная посылка этой доктрины, появившейся в XV веке, нашла свое выражение в формулировке, обусловленной конкретной исторической эпохой: «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать».

На протяжении столетий эта первоначальная посылка определила общую направленность формирования парадигмы фундаментальных русских ценностей. Изменялись лишь в зависимости от исторической эпохи языковые обозначения понятий, составляющих содержание этой доктрины. Понятия, входящие в уваровскую триединую формулу «Православие, самодержавие, народность», составляли парадигму русской идеи в течение почти целого столетия. В советские времена эта идея испытала мутацию. Православие вытеснялось коммунистической «религией» — научным атеизмом. Самодержавие, олицетворяемое генсеками компартий, превосходило деспотизм царей. «Народность» стала родовым понятием, ассоциирующимся с обиходными выражениями типа «народные массы», «советский рабочий народ» и т.п., номинально легитимизирующими «советское самодержавие». Что бы ни делала советская власть, это всегда было «на благо народа». Неизменным компонентом русской идейной парадигмы как в уваровском, так и в советском ее варианте было «могущество», «имперский дух», «великодержавность», в советские времена камуфлировавшаяся понятиями «советская держава», «интернациональный долг» и прочими выражениями из арсенала «новояза» — типа «самая передовая Страна Советов», «центр мирового коммунистического движения» и т.п.

Как я уже заметил, идейная программа руководящих элит в посткоммунистический период характеризуется отходом от подобного синонимического камуфляжа и возвратом к традиционной недвусмысленности. Оказывается, однако, что нельзя дважды войти в одну и ту же матушку-Волгу. «Правосла-

вие» в результате опустошений советской эпохи и общих тенденций светского характера остается в большой степени чисто институциональным явлением — хотя и влиятельным, но уже не оживляющим, как прежде, русскую душу своей духовностью. «Народность» стала неким виртуальным артефактом, объединяющим понятия укрепившегося в годы советской власти «коллективизма» и идеализированной «соборности». Сегодня, в условиях свободного рынка и разгула «новых русских», понятия «народности» и «соборности» отражают лишь бесплодные устремления к возрождению явлений, безвозвратно ушедших в прошлое.

Осталось «самодержавие», по-прежнему сочитающее в себе понятия власти и воплощения «могущества» и «имперского духа». По меткому выражению Ф.И.Тютчева, в России «все движется около кнута и чина». В советской России кнут стал еще более длинным и жестоким, а чиновнический аппарат воплотился в коммунистическую партию. Перефразируя приведенные выше слова поэта, можно с некоторой натяжкой сказать, что в посткоммунистической России «все движется вокруг денег и всяческих властей имущих». Несомненно, это осязаемый цивилизационный прогресс по направлению, если воспользоваться выражением К.Н.Леонтьева, к «своеобразному стилю культурной государственности».

Вплоть до настоящего времени мы присутствуем при попытках включить реставрированные идейные концепции в русско-белорусскую государственность, в большей или меньшей степени культурно эволюционирующую в новом геополитическом окружении, возникшем после окончания «холодной войны».

Приведенные в этой короткой заметке метаморфозы русской доктрины влияли и будут влиять и дальше на характер и содержание культурных связей в польско-восточнославянском регионе, а сегодня они в наибольшей мере определяют стратегии усвоения особенностей культуры соседей и развития межкультурного диалога в этом регионе.

Говоря о стратегиях, касающихся польско-восточнославянских культурных связей, я имею в виду определенные положения — постулаты, признание которых может создать благоприятный климат для расширения знаний о культуре и поддержания культурных ценностей в польско-восточнославянском регионе. Я вполне осознаю всю рискованность формулирования этих положений-постулатов ввиду их спорного характера. Вот важнейшие из них:

— признание того факта, что Россия была и останется могущественной державой независимо от того, какова она сегодня и какой будет завтра;

— признание того факта, что во многих областях универсальный характер национального культурного



наследия России позволяет причислить ее к кругу крупнейших европейских держав в сфере культуры;

— признание того факта, что, несмотря на очевидное обнищание, Россия располагает огромным интеллектуальным и цивилизационным потенциалом.

Из признания этих положений истинными (аргументы в пользу их истинности я здесь опускаю) в свою очередь вытекают определенные положения постулативного, прагматического и педагогического характера. Эти последние относятся не только к сфере воспитания и образования в школах и высших учебных заведениях, но и к широко понимаемому воспитанию всего общества, включающему в себя различного рода проблематику развития польско-российских отношений в долгосрочной перспективе. Ниже приводятся предлагаемые положения, относящиеся к проблемам исторической памяти, ментальных установок и непосредственно познания и культивирования культурных ценностей в польско-восточнославянском регионе:

— травматический аспект исторической памяти, отражающийся на ментальных установках и культурных контактах, может быть сглажен путем двусторонних разысканий или даже требований обнародовать всю правду о прошлом;

— память об исторических событиях (фактах) не должна намеренно представляться и использоваться таким образом, чтобы это задевало чувства другого народа;

— взаимное формирование позитивного образа соседей в сфере общественного сознания путем представления объективных сведений о своих странах и их населении, об историческом контексте судеб своих народов и об их деятельности в рамках общественного бытия;

— вытеснение обиходных отрицательных этнических гетеростереотипов путем узнавания правды друг о друге и формирование позитивных установок и толерантности по отношению к национальному своеобразию;

— открытие своих национальных границ во имя взаимного обеспечения возможности пребывания частных лиц, приехавших в туристических, научных, родственных или религиозных целях, на территории друг друга в безопасной, доброжелательной обстановке.

Приведенные выше положения-постулаты не представляют собой никаких новшеств с точки зрения, например, сегодняшних правил пересечения границ и повседневной практики в странах Евросоюза. Однако в польско-восточнославянских отношениях они остаются в сфере пожеланий, и зачастую пожеланий одностороннего характера.

Разумеется, они носят характер постулатов общего порядка и нуждаются в конкретизации и иллюстрировании на реальных примерах. Эта конкретизация должна происходить в ходе решения как теоретических, так и практических проблем, непосредственно связанных с политикой в обла-

сти образования и педагогической деятельностью. Чисто теоретическая проблематика касается самих знаний о культуре и ее изучения и включает в себя понимание самого феномена культуры, определения ее форм и их связей с языком, с этнически-языковым образом мира и т.п.

В практическом плане проблематика знакомства с культурными ценностями связана с такими трудными с педагогической точки зрения вопросами, как стимулирование заинтересованности в их изучении, предпочтительность выбора тех или иных феноменов культуры, процедур и способов их представления (например, в учебниках), осознание смысла и содержания таких явлений культуры, как произведения литературы и искусства, а также знакомство с биографиями их авторов и других выдающихся деятелей науки и иных областей культуры в истории данного народа. Наконец, сюда же относятся проблемы, связанные с формированием восприимчивости и способности соотносить знания о явлениях чуждой культуры с аналогичными знаниями о явлениях отечественной культуры, а также умения добиваться успешного усвоения этих знаний иностранцами (например, понимания содержания и идейного смысла польского национального гимна, роли польских исторических деятелей, таких, как гетман Станислав Жулкевский и т.п.).

Эта последняя проблема особенно важна в связи с тем, что в соответствующей литературе нередко используется термин «диалог культур». Культуры как таковые не ведут никакого «диалога», диалог происходит между людьми, носителями национальных культур и определенных универсальных культурных ценностей, в ходе различных видов деятельности, направленных на достижение самых различных целей. В понятийном плане этому диалогу соответствует метапонятие межкультурной коммуникации, реализующейся в различного рода дискурсах.

Чтобы могло осуществляться участие в межкультурной коммуникации обществ, чтобы могли культивироваться прежние и вновь возникшие культурные контакты, необходимо преодолевать предрассудки, связанные с исторической памятью и ментальными установками, бытующими среди представителей различных национальностей данного региона. Это зависит прежде всего от готовности руководящих элит данного региона (в том числе и Церкви) принять вышеприведенные постулаты и придерживаться их, проводить их в жизнь с помощью соответствующей политики в области просвещения и образования и повседневной педагогической деятельности в школах, высших учебных заведениях и повседневном публичном дискурсе. Существенное значение имеет также финансовая поддержка этой деятельности, которая также является важным фактором в создании соответствующей атмосферы и в стимулировании усвоения знаний о культуре и участия в межкультурной коммуникации.

Автор работает в Познанском университете им. Адама Мицкевича



**Яцек Мельхиор
Лукаш Радван**

РОССИЙСКОЕ — ЗНАЧИТ, ОТЛИЧНОЕ *Искусство с Востока покоряет Запад*

Вначале были Марк Шагал, Василий Кандинский, Игорь Стравинский, Сергей Рахманинов, Владимир Набоков, Сергей Дягилев — эмигранты, добившиеся триумфа на Западе. Спустя 80 лет мастера искусства из России вновь становятся заметными в мире, вновь завоевывают успех в Берлине, Париже и Нью-Йорке, Милане, Копенгагене и Будапеште. И вновь русские выступают, режиссируют, выставляются в Варшаве. Их положение, в противоположность временам ПНР, определяет рынок, то есть спрос.

Линда-популяризатор

Спектакли знаменитого Балета Бориса Эйфмана в рекламе не нуждаются. Но для успеха дебютантов требуются идеи. Махина нашего шоу-бизнеса приняла Асу Ахат с легкой руки Богуслава Линды (совместный клип). Вокалистку Ирину Бильк продвигает Цезарий Пазура. Лену и Юлию из группы «Тату» можно услышать в любой польской дискотеке.

— Мы беспокоились, какой будет реакция на русский язык, но оказалось, что молодежь он радует, а старшее поколение с большим удовольствием отдыхает от вездесущего английского, — говорит Марта Внучинская из «Юниверсал мюзик Польска». В прошлом году на фестивале в Сопоте понравилась Алсу из Татарстана, пользующаяся на Западе большей популярностью, чем наша Эдита Гурняк.

В Варшаве выставляют свои работы Олег Дергачев из Львова и петербургская группа сатириков «Нюанс». Успехом пользуется «Organim Dance Group», которой руководит Михаил Зубков, осевший у нас насовсем подобно барду Алеше Авдееву, режиссеру Евгению Корину, скрипачу Вадиму Бродскому (сейчас он в Милане) или пианистке Татьяне Шебановой. Польская опера тоже многим обязана артистам из-за Буга. Им, к возмущению отечественных вокалистов, достались главные партии в новейшей записи оперы Монюшко «Галька», а Галину Куклину из Познани признали лучшей в Польше Кармен и замечательной Баттерфляй.

По следам Нуреева

— Я уехал из своей страны, потому что хотел реализовать свой талант, а не влачить нищенское существование, — объясняет Михаил Зубков. Один из лучших танцовщиков Краковского оперного театра, он сбежал от длительной службы в российской армии. Танцовщики и танцовщицы классического балета — наряду с икрой и иконами — один из лучших российских экспортных товаров. Они украшают самые знаменитые балетные ансамбли мира, как некогда Рудольф Нуреев и Михаил Барышников.

Лена и Татьяна, окончив знаменитое московское балетное училище, решили уехать в Лугано.

— В одном из ночных клубов мы выступаем в танцах у шеста, — рассказывает Лена.



— Потом присаживаемся за столики клиентов, чтобы выпить по бокалу вина, но и только, — уточняет Татьяна.

И хотя за 500 швейцарских франков она может позволить вылить себе на голову бутылку самого дорогого шампанского, она по-прежнему рассчитывает сделать настоящую карьеру. Девушки хотят, отработав в таком амплу несколько лет, открыть балетную студию — может быть, даже в Варшаве. В достижении успеха им могут помочь русские фамилии — как подтверждение компетентности.

■ Русская экзотика

Русские добиваются в мире большего успеха, чем поляки, ибо больше умеют и представляют собой большую «экзотику». А кроме того, русские постоянно присутствуют в западной популярной культуре — от «Доктора Живаго» до Джеймса Бонда, совершающего свои подвиги в Петербурге в фильме «Золотой глаз», от «Распутина» в исполнении группы Бони М, до «Russians» Стинга. Они также лучше нас умеют предложить Западу то, что он хочет о них знать. После получившего «Оскара» фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» на премию Американской киноакадемии выдвинут «Русский ковчег» Александра Сокурова, карьеру в США сделал Андрей Кончаловский.

В Америке акклиматизировались и русские художники, вплоть до Ильи Глазунова. Добился успеха Олег Кулик, фотографирующийся на снегу с флажком и вцепившимся в его ногу злющим псом. Прекрасно продаются картины Виталия Комара и Александра Меламида. Они эмигрировали из СССР в 70-е годы — тогда же, когда не по своей воле страну покинули нобелевские лауреаты Иосиф Бродский и Александр Солженицын или Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.

■ Домогаров — как Том Круз

Во времена ПНР у поляков отбили охоту к русской культуре, потому что официально ею было велено восторгаться. Было у нас множество «Дней кино», без счета сериалов про войну или про укрепление народной власти, фестивалей советской песни. Жертвами принудительных восторгов становились и талантливые артисты.

Потребовалась смена государственной системы, чтобы польки захотели влюбляться в Сашу Домогарова, как в Тома Круза. Достопамятный Богун (в «Огнем и мечом» Хоффмана) сыграл также Макбета в краковском театре «Багателя».

— Мне не раз задавали шовинистический вопрос: неужели в Польше не нашлось подходящего актера? — говорит Яцек Шён, директор театра «Багателя». — Но я уперся: это весьма оригинальный Макбет. Может быть, он сыграет и Отелло.

На сезон 2004/2005 гг. планируется большая выставка «Варшава — Москва / Москва — Варшава. 1900-2000». Она будет посвящена польскому и русскому искусству минувшего столетия.

В новый век мы вошли без предубеждений к русскому искусству, оценивая его качество, а не политические и идеологические коннотации. Кто знает, может, уже вскоре какой-нибудь польский артист, чтобы облегчить себе жизнь на берегах Темзы или Сены, сменит фамилию — скажем, с Анджеевского на Андреева.

wprost



ВИКТОР ЭРЛИХ

НЕМНОГО О СЕБЕ

Родился 22 ноября 1914 г. в Петрограде. Отец, Генрих Эрлих, уроженец Люблина, был выдающимся деятелем «Бунда», мать, София Дубнова (дочь известного еврейского историка С.М.Дубнова) — поэтессой, литературным и театральным критиком. В 1917г. отец был членом Петроградского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В октябре вместе с представителями эсеров и меньшевиков он покинул историческое собрание Совета в знак протеста против захвата власти большевиками. В 1918 г. моя семья переехала в независимую Польшу; и с 1919 г. вплоть до начала II Мировой войны мы жили в Варшаве.

В 1937 г. я закончил частный варшавский университет (Wolna Wszechnica Polska), где получил магистерскую степень по польской филологии. Изучал польскую литературу, написал диссертацию о Станиславе Бжозовском. В 1932-37 гг. был активным членом бундовской студенческой организации. В 1937-39 гг. напечатал несколько критических эссе в бундовской прессе; в сентябре 1939 г. радикальный литературный журнал «Сигналы» опубликовал мою полемическую статью «Бжозовский и марксизм».

В ночь с 6-го на 7-е сентября 1939 г., когда немецкие войска приближались к Варшаве, я вместе с родителями и братом вышел из столицы. 17 сентября мы добрались до Пинска. Днем позже в город вошли советские войска. 1 октября отец был арестован НКВД на станции Брест-Литовск. Осенью 1939 г. его и другого лидера «Бунда» Виктора Альтера перевезли в Лубянку. На основании договора, заключенного Сталиным с польским правительством в изгнании, они были освобождены в сентябре 1941 г. В течение трех месяцев советские власти вели с отцом и Альтером переговоры об их активном участии в новой организации — Еврейском антифашистском комитете. В декабре 1941 г. они были вновь арестованы, на этот раз в Куйбышеве. В мае 1942 г. отец покончил с собой в одиночной камере куйбышевской тюрьмы. Виктор Альтер был расстрелян в феврале 1943 г.

В январе 1941 г. благодаря поддержке американского рабочего движения матери, брату, жене и мне удалось покинуть советскую Литву и пробраться через Россию, Японию и Канаду в Нью-Йорк. В 1943 г. я поступил на службу в американскую армию; в марте 1945 г. был серьезно ранен в боях на французско-немецкой границе и вскоре после этого демобилизован.

По возвращении в Нью-Йорк я продолжил изучение славянской литературы в колумбийском университете. Мне повезло — в 1945-1948 гг. там преподавал выдающийся языковед, славист и теоретик литературы Роман Осипович Якобсон. Мне удалось прослушать полный курс его лекций по общему и славянскому языковедению. Под руководством Р.О.Якобсона я написал диссертацию о русской формальной школе. Моя первая книга «Russian Formalism» (1955) выдержала несколько изданий и была переведена на пять языков, включая русский. В 1951 г. я окончил колумбийский



университет, получив докторскую степень (Ph.D.). С 1948 по 1962 г. в Вашингтонском университете в Сиэтле (University of Washington) преподавал славянскую литературу — русский роман XIX века, русский символизм, русскую критику и поэзию первой четверти XX века, польский романтизм.

В 1962-1985 гг. я был профессором русской литературы, на протяжении восьми лет заведовал кафедрой славянской литературы в Йельском университете. В 60-х и 70-х гг. Йельский университет стал одним из главных центров американской русистики. Нашей кафедре удалось привлечь ряд на редкость талантливых аспирантов. Многие из них написали под моим руководством замечательные диссертации, посвященные Пушкину, Гоголю, Достоевскому, Ахматовой, Цветаевой, Ремизову. Теперь они преподают в ведущих американских университетах, включая Йельский. Пожалуй, самым блистательным примером является Томас Венцлова — его диссертация представляет собой тонкий структурный анализ русской лирической поэзии от Баратынского до Бродского.

Эту скромную автобиографию нам хотелось бы дополнить одной существенной деталью. Дело в том, что Виктор Эрлих — сын замечательного варшавского адвоката Генриха Эрлиха. Еще до I Мировой войны Генрих Эрлих был одним из лидеров «Бунда», партии еврейских рабочих, которая сотрудничала с ПСП (Польской социалистической партией) и, как показали события межвоенного периода, решительно отмежевалась от большевиков. После февральской революции Генрих Эрлих был избран в Петроградский Совет, а в марте 1917 г. внес предложение о признании права Польши на независимость. Председателем Совета был в то время меньшевик Мартов. Предложение было принято подавляющим большинством голосов Совета — высшего законодательного органа революционной России.

В результате польско-немецкой войны 1939 г. Генрих Эрлих оказался на территории СССР. Вместе со своим другом и партийным товарищем Виктором Альтером он был арестован. После нападения гитлеровской армии на СССР его освободили из лагеря, однако, вскоре вновь арестовали. Имя Виктора Эрлиха — свидетельство дружбы, соединявшей этих двух выдающихся деятелей независимого рабочего движения.

Основные публикации:

1. «Russian Formalism» (1955, 1964, 1981). «Russischer Formalismus» (1964). «Il formalismo russo» (1966). «El formalismo ruso» (1974). «Русский формализм» (1996).
2. «The Double Image», Johns Hopkins University Press, 1964. (Ряд эссе о славянской поэзии, сосредоточенные на теме «самообраза» поэта в творчестве Пушкина, Красинского, Брюсова, Блока и Пастернака.)
3. «Gogol», Yale University Press, 1969.
4. «Modernism and Revolution: Russian Literature in Transition», Harvard University Press, 1994. (Анализ русской художественной прозы 20-х гг.)



Виктор Эрлих

АХМАТОВА О ДВАДЦАТОМ ВЕКЕ



Все мы хорошо помним насыщенные ретроспективной тревогой строки из третьей главы «Поэмы без героя»:

*А по набережной легендарной
Приближался не календарный,
Настоящий двадцатый век.¹*

К «году сороковому», из которого Ахматова «как с башни» глядела на петербургский «мир накануне чумы», она полностью извела разрушительный потенциал «настоящего двадцатого века». Однако тема двадцатого века как эпохи бедствий и катаклизмов появляется в творчестве Ахматовой на гораздо более раннем этапе ее жизненного пути, на пороге советской эпохи — то ли в виде горестного раздумья над особенностью этого века, то ли в виде яркой картины душевного смятения лирической героини перед лицом «неслыханных перемен»², которые «этот век» с собой принес. Оба текста более чем достойны внимания; оба с трудом поддаются полной расшифровке. В одном пресловутый ахматовский лаконизм граничит

с эллиптической конструкцией. Другой ожидается на своеобразном эмоциональном парадоксе, который легче частично прояснить, чем полностью разрешить.

Начнем с более позднего из двух текстов — со стихотворения, написанного в июне 1921 г. и посвященного близкому другу Ахматовой, Наталии Рыковой-Гуковской:

*Всё расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Всё голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?*

*Днем дышаньями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных шольских небес, —*

*И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.³*

В первой строфе стихотворения обращает на себя внимание богатая звуковая инструментовка: сравнительно редкие у Ахматовой параномазии (*предано — продано, голодной — изглодано*) и аллитерация (*стало*

¹ Анна Ахматова, «Поэма без героя», «Сочинения», Международное литературное содружество, Мюнхен, 1968, т. 2, стр. 118.

² А. Блок, «Возмездие», Собрание сочинений, М.-Л., т. 3, стр. 306.

³ Анна Ахматова, «Стихотворения и поэмы», М., Библиотека поэта, стр. 166.



— светло). Но еще больше поражает смысловой и эмоциональный контраст. Уже Борис Эйхенбаум в своем основополагающем труде показал тенденцию Ахматовой к «резким смысловым переходам»⁴, иногда в рамках одной и той же строфы. Вряд ли во всем ахматовском каноне найдется более резкий скачок, чем переход от мрака первых трех строк начальной строфы «Все расхищено...» к «свету» последней строки. После категорического осуждения происшедшего изумленный вопрос «отчего же нам стало светло?» изумляет и повергает в недоумение: ведь речь здесь, по-видимому, идет не только о материальных лишениях, но и об уничтожении духовных ценностей, о поругании святынь. Разрядить это смысловое напряжение, заполнить, хотя бы частично, разрыв между чувством полной катастрофы и неожиданным и, казалось бы, несовместимым с ним душевным «просветлением» — сложная задача, возложенная на последующие две строфы.

Во второй строфе стихотворения переход к «светлой» тональности сочетается с тематическим сдвигом. Если в первых строках текста речь идет о социально-историческом, которому «всё» придает чуть ли не космический охват, вторая строфа переносит нес в мир природы. В отличие от первой строфы она выдержана в одном ключе — в приподнятых, взволнованных, почти эйфорических тонах, но ее реалии, на что обратил мое внимание Ефим Эткинд, не лишены элемента контраста, вернее несовместимости. Если «днемдыханьями веет вишневыми» наводит на мысль о мае, то это с трудом вяжется с «июльскими небесами». (Стихотворение, между прочим, датировано июнем.) Эта зыбкость онтологических или скорее хронологических границ знаменательна. По-видимому что-то существенное сместилось во взвихренной действительности, вернее в ее восприятии говорящей. Ключевое слово здесь — эпитет «небывалый», который в этом контексте очевидно подразумевает «увиденный заново» или «как бы впервые».

⁴ Борис Эйхенбаум, «Анна Ахматова: опыт анализа», в сб. «О поэзии», М.-Л., «Советский писатель», 1969, стр. 136.

Это новое видение, «заостренное», обновленное восприятие окружающего мира кажется мне сродни «второму рождению» лирического героя пастернаковского «Марбурга», сделавшего предложение любимой женщине и творчески потрясенного ее отказом: «Я вышел на площадь / Я мог быть сочтен вторично родившимся»⁵. Однако в рассматриваемом нами тексте, в отличие от пастернаковского, новая «интенсивность» восприятия — результат не травмирующего личного переживания, а исторического катаклизма, который «грозою раскидал людей и дела».⁶ Поэтому я склонен предположить, что и здесь мы имеем дело с особым синдромом, который можно было бы назвать эмоциональным парадоксом предельной ситуации. Я говорю о явлении, знакомом многим из нас — о чувстве чуть ли не радостного возбуждения, которое охватывает свидетеля или объект исторического кризиса вопреки тяжелым испытаниям и угрожающим опасностям, о странном чувстве освобождения («бездны на краю») от уз быта, от рутинного, обычного, повседневного. Позвольте мне не без некоторых колебаний процитировать произведение, к которому Ахматова не благоволила, а именно слова Лары из «Доктора Живаго»:

Всё производное, налаженное, всё относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, всё это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Всё бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, непрiloженная сила голой, до нитки обобранной душевности.⁷

Еще одна литературная ассоциация: не является ли одним из источников душевного подъема, которым проникнута вторая строфа, чувство избранности, причастности к грандиозным и необратимым историческим

⁵ Борис Пастернак, «Марбург», в сб. «Стихи и поэмы 1912-1932», Анн Арбор, 1961, стр. 220.

⁶ Владимир Маяковский, «Про это», Полное собрание сочинений, Москва, 1957, т. 4, стр. 139.

⁷ Борис Пастернак, «Доктор Живаго», Анн Арбор, 1957, стр. 413.



событиям — чувство, закрепленное в знаменитых строках Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые»⁸

Третья строфа возвращает нас к социальному во всей его неприглядности, к «развалившимся грязным домам». Однако мотив разрухи резко противопоставлен здесь «чудесному», которое перекликается с «небывалым», а две последние строки, развивающие эту тему, открывают перспективы, не исчерпывающиеся «де-автоматизацией» восприятия. Я должен сознаться в том, что эти строки для меня не вполне ясны. Миф «светлого будущего», которое ретроспективно оправдывает и осмысливает тяжелые жертвы, принесенные «в пути», не был составной частью мироощущения Ахматовой, чуждого утопическому или эсхатологическому мышлению. Ее позиция в первые годы революции ближе к мужественному стоицизму Мандельштама в «Сумерках свободы», чем к хилиазму Блока, Белого или *mutatis mutandis* Есенина. В ее гражданской поэзии этих лет доминирует нота стойкости. Когда Ахматова с возмущением отвергает перспективу эмиграции, ею руководит не вера в лучшее будущее родины, а твердое решение разделить ее трудную судьбу до конца. Поэтому в часто цитируемом стихотворении «Не с теми я...» она имела полное право с гордостью заявить: «А здесь в глухом чаду пожара / Остаток юности губя, / Мы ни единого удара / Не отклонили от себя».⁹

Возвращаясь к нашему тексту, слова «никому неизвестное» вызывают сомнение в том, что «от века желанное нам» подразумевает осуществление осязаемого общественного идеала. Но мотив «чуда», выплывающий на волне ощущения, что раздвинулись границы возможного, несомненно налицо. Намек ли это

⁸ Ф. И. Тютчев, Полное собрание сочинений, Л., «Библиотека поэта», 1987, стр. 105. Ср. достаточно явный «цицероновский» пафос раздумий о «нашем» родном отрезке исторического времени в позднейших «Северных элегиях» (1940-1945):

*Так вот когда мы вздумали родиться
И, безошибочно отмерив время,
Чтоб ничего не пропустить из зрелищ
Невиданных, простились с небытием.*

(Анна Ахматова, «Стихотворения и поэмы», М., «Библиотека поэта», 1979, стр. 329)

⁹ Анна Ахматова, «Сочинения», т. 1, стр. 215.

на духовное очищение в огне тяжелых испытаний? Как бы то ни было, летом 1921 г. вместе с «небывалым» душевным подъемом в поэзию Ахматовой, поэзию стоицизма и стойкости, проникла тема больших ожиданий, которая так громко звучала в русской поэзии первых лет революции.

Если «всё расхищено, предано, продано» движется от боли и гнева к своеобразной эйфории, то в думе Ахматовой об «этом веке» мрачный и несколько загадочный диагноз разрешается зловещей исторической символической.

Зимой 1919 г. Ахматова писала:

*Чем хуже этот век предшествующих?
Разве тем, что в чаду печали и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.*

*Еще на западе земное солнце светит
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.¹⁰*

Как многие «лирические новеллы» Ахматовой, — но на этот раз не в сюжетном, а в интеллектуальном плане, — наш текст начинается *in medias res*. Веский и тревожный вопрос, вдвинутый в первую строку стихотворения, но не совпадающий с ней, исходит как из чего-то данного из положения об особой ущербности двадцатого века, положения, добавим, глубоко спорного: ведь для многих современников Ахматовой да, пожалуй, и для нее самой как автора «Все расхищено, предано, продано» наш век был эпохой не только тяжелых испытаний и потрясений, но и апокалиптических чаяний и грандиозных замыслов. И так, то, что «этот век хуже предшествующих», уже установлено. Остается выяснить, *чем* этот век хуже предыдущих, в чем состоит его особый, роковой изъян.

Гипотетический ответ («разве тем...») на этот вопрос более суггестивен, чем ясен. «Самая черная язва» упомянута, но не названа. Возможно, это какое-то глубоко укоренившееся общественное зло — социальное неравенство, несправедливость? Подчеркнута, педализирована *неудача* основного замысла

¹⁰ Анна Ахматова, «Сочинения», т. 1, стр. 188.



века — попытки элиминировать это зло. (Ощущение полного провала этой хирургии создается размещением ключевых слов «хуже» и «не мог» на крайних позициях в строфе.) Следует ли из этого, что «самая черная язва» неисцелима или что попытка исцелить ее была покушением с негодными средствами?

Пожалуй, это не самое главное. Ведь если бы изъян двадцатого столетия ограничивался его неспособностью исцелить вековую «язву», оно было бы не лучше, но и не хуже предыдущих. По-видимому, этот «век» не только не мог залечить рану, но и растравил ее. Другими словами, здесь, кажется, применим английский идиоматический оборот: «the cure is worse than the disease» («лечение хуже недуга»).

Такая гипотеза полностью подтверждается тональностью и образной системой второй строфы, в особенности ее последних двух строк. Однако прежде всего, отметим антиномию *запад — Россия*, на которой построена эта строфа и которая реализована в хиазме «еще на западе...», и «а здесь уже...». Такая антиномия — часто повторившийся мотив в русской литературе двадцатых годов, но здесь она несет особую функцию. Даже у таких глубоко амбивалентных попутчиков, как Борис Пильняк («Третья столица»), она обыкновенно облекается в форму противопоставления «шпенглеровскому» отжившему Западу новой России — нищей, голодной, но динамичной, и несмотря на жертвы и лишения неуклонно шагающей вперед. И у Ахматовой Россия представляет собой более позднюю стадию развития — судьбу, которая уготована и Западу. Однако судьба эта, мягко говоря, не завидна.

По-видимому Западу дарована историей какая-то отсрочка. В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на семантическую двупланность полуоксюморона «земное солнце». Прежде всего это закатное, заходящее солнце, солнце, которое клонится к земле. Но я ощущаю в эпитете «земное» и намек на заземленность, почвенность, традиционность, обычность уклада жизни, который все еще существует на Западе, т.е. на полную противоположность космической взвих-

ренности мандельштамовской строки «на страшной высоте блуждающий огонь».¹¹

Если Запад все еще живет «нормальной» жизнью, то «здесь» уже безраздельно царит «белая», т.е. смерть. Знаменательно, что контраст между ключевыми словами третьих строк первой и второй строфы «самая черная язва» и «белая» — контраст зрительный, но не семантический: под «белой» подразумевается смерть, а «черная» относится к трудно излечимой болезни. Иначе говоря, в этом контексте «белая» не противостоит эпитету «черная», а усугубляет его.

В стихотворении, написанном в России 1919 года, мотив смерти наводит на мысль о жертвах гражданской войны или о свирепствующем в стране голоде. Однако такое прочтение было бы более правомерно по отношению к образной системе первой строфы «Всё расхищено, предано, продано...» — «черной смерти мелькало крыло, / Всё голодной тоскою изглодано». Фраза «дома крестами метит» подсказывает другие ассоциации, мобилизует другую символику. Я, конечно, имею в виду опричнину, Варфоломеевскую ночь и общий знаменатель этих зловещих явлений — террор, политический или религиозный, физическое уничтожение «врагов» во имя единственной правильной доктрины.

С перспективы восьмидесятых годов «этого века» заключительные строки рассматриваемого нами текста звучат как жуткое пророчество. Вряд ли нужно доказывать, что идеологическому геноциду суждено было стать одним из самых характерных вкладов нашего столетия в историю человечества. В частности, вряд ли необходимо напоминать, что спустя десять лет грандиозный социальный эксперимент, предпринятый на родине Ахматовой, уже привел к власти диктатора, который сознательно взял на себя роль Ивана Грозного наших дней.

Мне пора остановиться. Ретроспективные интерпретации заведомо рискованны: они выводят нас слишком далеко за пределы текста. Однако нельзя не отметить знаменательный факт: стоя на пороге «настоящего двадцатого века», большой русский поэт «прикоснулся» к одному из его роковых заблуждений, как бы предвидя, что его утопический замысел «переделать всё»¹² обернется кошмаром неопричины.

¹¹ Осип Мандельштам, «Собрание сочинений», Международное литературное содружество, Вашингтон, 1964, стр. 70.

¹² Александр Блок, «Интеллигенция и революция», «Собрание сочинений», М.-Л., 1962, т. 6, стр. 12.



Юзеф Чапский

Перевод
Святослава Святского

ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ



Юзеф Чапский *Портрет Анны Ахматовой*
карандаш, 1965

Воскресенье. 20. VI. (1965)

(Вдруг телефонный звонок: Анна Ахматова проездом в Париже, и хотела бы меня видеть. Тотчас отправляюсь в Париж, в гостиницу на площади Звезды, где она остановилась. — Запись сделана карандашом сразу после ухода. К ней я присоединил позже кое-что из забытых и не упомянутых вначале подробностей.)

Просторная комната гостиницы, Анна Андреевна в большом кресле, внушительная,

полная, спокойная, чуть глуховатая. *Tres dame*¹. Невольно вспоминаются идеализированные портреты русских цариц восемнадцатого века. Кроме неё в комнате спутница Ахматовой, её юная московская воспитанница — Каминская, полька по происхождению, и молодая англичанка из Лондона, входят и выходят давние друзья из эмиграции.

Год назад Анна Андреевна была в Таормине, где ей вручили международную премию «Этна-Таормина». Это был, кажется, первый, выезд Ахматовой за границу с 1914 года! Об этой премии она говорит очень иронично, как о некой большевистской комбинации. На обратном пути она тогда хотела ехать через Париж, но Сурков сказал ей: «Вы не вернётесь так, как приехали». И теперь её тоже отправили в Англию через Остенде, чтобы она снова не попала в Париж.

В Лондоне ей удалось упросить советское посольство — наконец получила разрешение, при условии, что пробудет в Париже не более двух дней. Но вчера, не получив соответствующих билетов для себя и спутницы, она отложила выезд на один день, чем вызвала резкие нарекания парижского посольства за нарушение субординации. На вокзале в Париже ее никто официально не встретил, был только Бушен, кузен ее мужа (знаю его с тридцатых годов и именно ему обязан тем, что Ахматова отыскала меня).

На какое-то мгновение мы остались с ней наедине, и я сразу спросил о сыне (она говорила мне о нём в Ташкенте в 1942 году, о его аресте и вывозе из Ленинграда в неизвестном направлении еще до войны). Сказала, что сын «провел в лагерях около 14 лет, выпускали, снова сажали, «брали Берлин», теперь он на свободе, профессор, написал работу о гуннах, он в прекрасной физической форме, но что-то в голове у него помутилось в лагере. После возвращения он меня возненавидел, не хочет со мной встречаться, уже три года его не видела».

— Ну что ж — добавляет Анна Ахматова, — так бывает, что самый близкий человек становится чужим.

¹ Дама во всех отношениях



Второй мой вопрос о поэте Бродском. Она его знает, высоко ценит. Его выпустили из ссылки под Архангельском на три дня (то ли на Пасху, то ли на Рождество?). «Самые высокие медицинские авторитеты, к которым мы его направили, оценили состояние его здоровья как критическое — шизофрения и т.д., он вернулся в ссылку со всевозможными свидетельствами врачей, но тамошний лекарь счел его абсолютно здоровым».

— Не понимаю, в чем дело, ведь никого не арестовывают, и вдруг Бродский! — И Ахматова продолжает: — Сталин довел страну до крайнего разложения, и жить сейчас всё ещё трудно, но выросло новое замечательное поколение — *послесталинское*. Она говорит это с теплотой в голосе. И вообще говорит спокойно, очень скупое, без каких-либо преувеличений, и это придаёт особый вес каждому её слову.

О «Культуре» она слышала от профессора Якобсона. Знает также, что я писал о ней, из упоминания об этом в какой-то библиографии, но самого текста она, разумеется, не читала.

Заговариваю о Терце и Аржаке (Синявском и Даниэле). Реагирует крайне осторожно: «Не думаю, что «Фантастические рассказы» Терца могли быть написаны в России». И умолкает. (В самом деле она так думает или, может быть, все знает и поэтому так говорит?)

Бушену и мне она прочла в своей манере, нараспев стихотворение, написанное в Лондоне. Листок с этим стихотворением, вынутый из записанной книжки с лондонскими адресами, тут же рвет в клочки, говоря при этом: «Уже знаю его наизусть». Записную книжку она тоже намерена уничтожить. Когда Бушен удивляется, почему же она не может привезти свои собственные заметки, Ахматова бросает мне: «Вот видите, сорок лет не был в России, и даже он не помнит! Что говорить о французах!»

Знакомые из эмиграции, друзья давних лет, поклонники её поэзии приходят и уходят. Она показывает нам статью о себе в американской эмигрантской газете — полную энтузиазма. Говорит, что это может ей сильно повредить.

— Чем это может Вам повредить? — спрашивает кто-то из присутствующих.

— Ну, хотя бы тем, что не появится книга моих стихов, и мне опять не позволят выехать. (Предполагается её поездку в Америку.)

Разговор продолжается. Анна Андреевна вносит кое-какие коррективы в свою биографию, ещё до четырнадцатого года (парижский период, её дружба с Модильяни и т.п.) Та эпоха видится ей в безмерной дали...

Якобы Маяковский ревновал к Мандельштаму и еще к кому-то, и от этого такое нагромождение вранья о нем в книге, которая появилась в Америке.

Якобы в Париже то ли она ревновала Гумилёва, то ли он ее. И добавила с юмором: «Ну что же, мы все в те времена кувыркались, а теперь о нас тезисы пишут!»

И появляется то же ощущение, что возникло, кажется, у Марии Домбровской, будто она уже превратилась в монумент, и все ее заботы лишь о полноте биографии. Ну, если не монумент, то бдительный страж своего доброго имени и хранитель точных фактов жизнеописания А.Ахматовой.

Написано позднее.²

Такова была моя встреча с Ахматовой, первая после двадцати трех лет и последняя. Анна Андреевна умерла в марте 1966 года, и я глубоко сожалею, что моя заметка, поспешно нацарапанная карандашом в тетрадке, вышла такой сухой и лаконичной. Я писал о ней в «Нечеловеческой земле», о нашей встрече в 1942 году, умолчав, разумеется, об всем, что ей могло тогда повредить, опустив ту нашу ночную прогулку после вечера у Алексея Толстого, когда я проводил ее до дома. Какова была с той поры ее жизнь? Многие остаются для меня таинственным: стихи писались тогда не в стол — ближайшие друзья заучивали их наизусть. Ташкент, Алма-Ата, и внезапно неожиданная фраза Сталина: «Анна Ахматова — великий поэт», — которая уже в период войны в мгновение ока меняет ее судьбу: чествование в Москве, возвращение в Ленинград, а после войны ждановщина, новые преследования, затем послесталинский период, когда тиски террора ослабевают, растет ее слава, ее легенда, и строки новых стихов доходят до нас из России и Америки. Например эти два, которые не покидают меня с тех пор, как впервые прочитал ее «Родную землю» (1961):

² В 1967 г.



*И в мире нет людей безжалостней,
Надменнее и проще нас...*

и «Последняя роза» (1962):

*Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать и умирать и жить...*

и те, что изданы в 1963 году в Мюнхене в томике «Реквием» (...)

В кресле парижского отеля я увидел не ту трагическую и все еще прекрасную поэтессу, которую встретил в Ташкенте, а почтенную даму, как бы уже успокоившуюся, умиротворенную, которая издали и свысока смотрит на все прошлое и на дело своей жизни. Великую поэтессу



Юзеф Чапский. Автопортрет
карандаш. 1940

в ореоле тогдашней, мировой уже славы, окруженную преданными ей молодыми женщинами и старыми друзьями из эмиграции.

Лишь после ее смерти я получил из Лондона письмо — меня спрашивали, знакомо ли мне стихотворение, написанное поэтессой в 1959 году, которое она якобы посвятила мне. Я никогда об этом стихотворении не слышал. Мне пояснили, что Ахматова зачастую поступила таким образом, не сообщила, кому посвящено стихотворение — пусть сам догадается. *Но я этого стихотворения не знал.* Возможно, тогда в парижском отеле она ждала, что я о нем вспомню?... Мне прислали его лишь в 1967 г. Это стихотворение появилось в двух вариантах. Ниже я процитирую фрагмент из него по тому письму, которое некогда получил. Вот это письмо:

«Посылаю Вам фотокопию стихотворения из цикла «Ташкентские страницы» из книги «Без времени», Москва-Ленинград, 1965. Первый разговор у меня был с одной приятельницей Ахматовой, которая обратила мое внимание на разницу двух вариантов и сказала, что Ахматова не посмела в первом варианте, который был в свое время напечатан, поместить слово «Варшава» (московское издание 1961 г.), но что теперь это вполне возможно. Моя собеседница спросила, не знаю ли я, о ком написала поэтесса. Я ответила ей, что не знаю. А она мне на это: «А я знаю, но не скажу, скажу только, что слово «Варшава» даст вам ключ к ответу».

Через пару дней госпожа Х. (тоже близкий Ахматовой человек) сказала мне: «Не понимаю, почему Вам не захотели сообщить, о ком говорится в этом стихотворении. Был один польский художник, который прибыл в Ташкент во время войны и которого встретила там Анна Ахматова». Что до меня (пишет моя корреспондентка), то я убеждена, что единственным поляком, которого она тогда встречала, были Вь».

Это о письме. У меня самого нет сомнений, что стихотворение 1959 года — это поэтическое воспоминание семнадцатилетней давности о той ночи, когда я провожал ее от Алексея Толстого, о вечере, который я описал в книге, где я читал *a livre ouvert*³ Норвида и стихи Балинского и Слонимского, которые дошли до нас из Лондона. Помню слезы на глазах Ахматовой, когда я неуклюже пытался перевести «Варшавскую колядку»:

³ Без подготовки



*Рождаешь сына ты, о мать,
В Варшаве среди руин,
Не лучше ль сразу же отдать,
Чтоб был распят твой сын?...*

Ахматова обещала тогда это стихотворение перевести. Затем она читала наизусть свою «Ленинградскую поэму». К этому эпизоду я не возвращаюсь, я описал его в книге. Помню, как провожал ее поздно ночью. Сиял месяц.

Дневная жара сменилась прохладой. Оба мы были пьяны стихами. Анна Андреевна не в самой учтивой форме отослала кого-то, кто хотел ее провожать. Тогда она и призналась мне, что смертельно боится за сына. «Я целовала сапоги всем знатным большевикам, чтобы мне сказали, жив они или мертвы — я ничего не знала». И внезапно эта женщина, такая горделивая в гостинной Толстого, этого сталинского сановника, такая отстраненная от нас всех, стала мне по-человечески близка, оказалась другой женщиной и абсолютно трагическим человеком. Тогда она сказала мне: «Сама не знаю, что это, ведь мы почти незнакомы, но Вы мне ближе всех людей вокруг». Она могла спокойно говорить со мной, чувствовала иную атмосферу, большую свободу, отсутствие страха, который душил тогда в России вздох у людей, буквально у всех.

Как благодарен я ей за это стихотворение, за то, что она захотела увидеть меня еще раз в Париже, и как не могу простить себе того, что не удалось мне с ней поговорить по душам, выслушать ее, как бывало однажды, не думал я, что то краткое свидание на людях станет последней встречей, и я больше никогда ее не увижу и уже не скажу ей, чем стали для меня некоторые ее стихи и та ташкентская встреча.

ИЗ ЦИКЛА «ТАШКЕНТСКИЕ СТРАНИЦЫ»

*В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.*

*И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —
Одни под созвездием змея,
Взглянуть друг на друга не смея.*

*То мог быть Стамбул или даже Багдад,
Но, увы, не Варшава, не Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.*

*И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.*

*Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой...*

*И если вернется та ночь и к тебе
В твоей для меня непонятной судьбе,
Ты знай, что приснилась кому-то
Священная эта минута.*

В московском издании 1961 года две первых строчки третьей строфы выглядели так:

*То мог быть Каир или даже Багдад,
Но только не призрачный мой Ленинград...*



Марта Микель
Изабелла Польковская

ТРАКТОР И ФРАНЦУЗСКИЕ КРУЖЕВА

- Они нам очень помогают, — говорят одни.
- Благодаря им мы теперь живем в деревне, — твердят другие.
- Они учат нас натуральному земледелию, — свидетельствуют третьи.

Александра и Мечислав Бабальские стали первыми в Польше эконофермерами (производителями экологически чистой продукции). Сегодня они учат всех, кто желает вести свое хозяйство в согласии с природой. Эконофермеры — это община: они живут не только близко к природе, но и поблизости друг от друга.

ДУШЕВНЫЙ МУЖИК

— Городским энтузиастам кажется, что вернуться к природе — это лежать под липой, — говорит Мечислав Бабальский, не прерывая своего занятия: он завязывает мешки с мукой. Шум работающей мельницы заглушает его слова. — Таких людей я отговариваю как могу. Сельское хозяйство, тем более экологическое, где почти все надо делать вручную, — тяжелый труд.

Тем не менее вокруг Покшидова в прежнем Торунском воеводстве растет число хозяйств, производящих экологически чистую продукцию. Здесь их больше всего в Польше. Энтузиазм Бабальского передается другим.

— По иронии судьбы я начинал как специалист по минеральным удобрениям в госхозе, — смеется он.

Химия должна была спасти человечество от паразитов. А сегодня человечество надо спасать от вездесущей химии.

— Прежде, выходя в поле, я выискивал то, что плохо. Я высматривал насекомых-вредителей, боялся неурожая, жил в стрессе: пора уже опрыскивать или еще подождать? Сегодня я спокоен. Я знаю, что делаю нечто такое, что и в самом деле件 полезно.

Бабальский больше не хочет бороться с природой — он хочет с ней сотрудничать. В своем тщеславии человек исправляет то, что и так совершенно. Химические удобрения придают растениям неестественные, преувеличенные свойства. А природа будет всегда пытаться уничтожить то, что неестественно. Человеческий организм тоже защищается, плохо переваривает химически «обогащенную» пищу.

— Когда-то в деревне настоящего крестьянина можно было узнать по тому, что он все время что-то надкусывал, пробовал, — смеется пан Мечислав. — А теперь? Маргарин, «деревенский» творожок в пластмассе, горошек из банки. Как можно любить свою землю, если даже не знаешь, каков вкус ее плодов?

— Да и сами мы — то, что мы едим, — Бабальские в этом глубоко убеждены.

Хотя их предки с незапамятных времен крестьянствовали, только теперь они чувствуют себя частью своего хозяйства.

АНТРОПОСОФИЯ И МАКАРОНЫ

Мечислав Бабальский много читал, даже ездил в Швейцарию присмотреться. Наконец выбрал взаимодействие с природой биодинамическим методом, основанным на антропософии: исходя из того, что даже далекие планеты оказывают влияние на жизнь растений и животных на Земле. Сторонники биодинамического метода сеют и убирают урожай по лунному календарю, по которому год делится на дни цветка, стебля, плода и корня. Сами они тоже стараются жить в согласии с гармонией космоса.

— В полнолуние я не стригу волосы, потому что они отрастают медленнее, а начинать диету советую на убывающем месяце: в новолуние даже от воздуха толстеешь, — объясняет пани Александра. Энергичная, худенькая, рыжеволосая — как сейчас модно, — она вовсе не выглядит «деревенской бабой».

В своем хозяйстве Бабальские вот уже восемь лет производят еще и макароны.

— В Польше эконофермеры не знали, что делать с зерном. А я привез из Швейцарии идею, как делать дешевые макароны. Нетипичные, без соли и яиц, очень темные — своего покупателя они нашли не сразу. На первых клиентов я вышел через варшавский клуб ЭКО-ОКО: продал макароны, овощи и яйца на Груецкой улице, прямо с машины.

Сегодня Бабальские перерабатывают у себя сто тонн экологически чистого зерна в год. Его им поставляют эконофермеры со всей северной Польши.



— Я смирилась с тем, что для мужа экология на первом месте, — говорит Александра Бабальская. — Летом мы собирались на озеро, а тут кто-то захотел посмотреть наше хозяйство. О том, чтобы испугаться, больше и речи не было.

Дом в Покшидове ежегодно посещают почти две тысячи человек. Начинающие экофермеры, студенты, школьники. Гости узнают, что новорожденного теленка лучше оставить при матери, вместо того чтобы учить его пить из ведра, как это делают все. Можно, конечно, облегчить себе жизнь, но у коровы пропадет материнский инстинкт. Бабальские рассказывают, как устроить при доме биологическую очистку сточных вод и почему они не используют detergенты, объясняя, как можно обойтись без них. Мечислав — вегетарианец. Не едят мяса Александра и две их дочери-студентки, изучающие экологию и охрану окружающей среды. Восьмилетний Филипп иногда может соблазниться куриной ножкой. Ему не запрещают: вегетарианцем надо становиться по выбору, а не по принуждению.

ОТШЕЛЬНИКИ В «НИЗОВЬЕ»

В двух километрах от дома Мечислава и Александры живут Оля и Славек Финдлинги. У Славека в Торунь был магазин здоровой пищи, а в Покшидов он приезжал за товаром и в отпуск.

— Каждый раз привозил с собой разных девушек, — смеется Александра Бабальская. — А когда три раза подряд приехал с Олей, то я поняла, что он настроен серьезно. Вскоре он попросил мужа найти ему в окрестностях хозяйство.

— Поженились мы уже после переезда, — рассказывает Славек Финдлинг.

Стоял октябрь. Подвенечное платье с французскими кружевами приехало к невесте на тракторе. До церкви Оля шагала по грязи в резиновых сапогах, белые туфельки надела только на пороге. Для родителей Оли тот факт, что их единственная дочь, выпускница двух факультетов Академии художеств, выбрала жизнь в деревне, стал настоящим шоком. Они проплакали все венчание.

Славеку, по образованию технику-садоводу, пришлось учиться практическому земледелию с самого начала. Все свои решения он принимает, посоветовавшись с Бабальскими. У него постоянно случаются оплошности: то забудет перевернуть сено для просушки, то слишком поздно высадит помидоры.

— Поздние помидоры растут прекрасно! — оправдывается Славек.

Финдлингам сейчас в деревне еще тяжелее, чем год назад, так как они отказались от магазина в городе.

— Магазин был для меня той лазейкой, что давала возможность в любой момент вернуться в город. Потом связал меня по рукам и ногам. Каждый выезд в Торунь заканчивался головной болью.

Дом Славека и Оли великолепно расположен. В окружении холмов, вблизи озера. Каждую неделю почтальон приносит в «Низовье», как называют соседи лежащее в долине хозяйство, посылки от родителей Оли. Без этого им пришлось бы туго.

— Мы могли бы немного подработать на агротуризме, — говорят Финдлинги. — Но не затем мы сбежали от людей, чтоб теперь их сюда зазывать.

ЭТО ТЕ, ЧТО СОРНЯКИ РАЗВОДЯТ

— Там у меня картошка, тут немного клубники, — Романа Циховского не смущает морозящий дождик, когда он показывает свое поле. — Если человек живет среди природы, то она ему не враг. Дождь — хорошо, солнце — тоже хорошо.

Циховские ходят в магазин только за солью, чаем и спичками. Все необходимое для жизни дает им свое хозяйство. Вместо сахара они используют сироп из собственной свеклы. Мария Циховская сама печет хлеб, сама сбивает масло, делает творог и сметану. Яйца и мясо у них свои. Двенадцать лет назад они получили в наследство домик с хозяйственными пристройками, четыре с половиной гектара земли. И переехали в деревню, в Збично вблизи от Бродницы. Мария, швея на фабрике, и Роман, работавший в государственном лесхозе, неожиданно стали крестьянами. С самого начала они не использовали минеральных удобрений: интуиция им подсказывала, что нет в этом ничего хорошего. Потом Циховский прочел, что и название у этого есть: экологическое сельское хозяйство.

— Так жили мой дед, прадед и все предки. Наверное, сам Дух Святой подсунил мне книгу о влиянии питания на организм. Там было ясно написано, что здоровая пища — лучшее лекарство! А у нас дома недели не проходило без вызова врача. Как переехали в деревню, все недомогания кончились.

— Сыновья румяные, рослые, здоровые, — Мария Циховская на минуту перестает возиться в кухне. — В деревню я поехала вслед за мужем и не сразу поверила в эту философию. Все вокруг химией посыпают — я думала, что без этого ничего не уродится. А теперь к еде из магазина и не притронусь. Человек быстро привыкает к хорошему.



— В деревне на нас глядят чудно: «А, это те, что сорняки разводят». Легче всего опрыскать, но ведь эти средства не только тле и сорнякам вредят, но и человеку, — волнуется Роман. — Удобрения вытягивают из земли все соки. Один песок остается.

Какое-то время тому назад Циховские освободили комнату с отдельным входом и принимают дачников, агротуризмом латают дыры в бюджете. Оказалось, что простая деревенская еда и Бродницкий пейзажный парк очень нравятся голландцам. Кое-кто из них приезжает в Збично каждый год. Циховский показывает фотографии с хохочущими блондинами:

— Вот эти хвалили наш хлеб. А вон тот пожилой господин из Амстердама ездит по Европе на велосипеде. И всегда к нам приезжает, — хвастает Роман.

БЕГЛЯНКА ИЗГОРОДА

Агата начала думать, что поселится в деревне, задолго до того, как пошла в школу. Она даже строила планы, как сбежит из дому: просто не вернется после очередных каникул, останется в деревне.

— Но в семье огорчились бы, если бы я, не говоря ни слова, исчезла.

Она решила, что осуществлять свою мечту надо методически: поступила учиться на зоотехника. Сегодня в тренировочном костюме, в резиновых сапогах, без макияжа, она не выглядит начальницей. Она коренная варшавянка, как и ее родители и деды с бабками. Восемь лет назад они с мужем купили хозяйство в Ужранках под Мговом.

— Родители всегда одобряли мой выбор, так что примирились и с переездом в деревню.

Отец Агаты перед смертью решил, что хотел бы покоиться на здешнем кладбище. Мама и родители мужа стали в Ужранках домочадцами.

Знамение времени: перед самой зимой Агата и Войцех Яблонские переселились в деревенский дом — без водопровода, без запасов топлива.

— Мы чувствовали себя как поселенцы на Диком Западе. Зато не надо было ждать положенные два года, пока земля очистится от химии, — утешают сегодня сами себя Яблонские. Пятьдесят гектаров их земли давно пустовали.

На своей залежи они начали разводить коз.

— Коза — это животное, словно специально созданное для женщины-зоотехника, — объясняет Агата. — Небольшое, но очень умное, и одомашнено оно так же давно, как и собака.

На собственных и чужих ошибках Яблонские учились обращаться с козами.

— О разведении коз известно было немного, — объясняет Агата. — Козу, как символ нищеты, исключили из атласа животноводства. В специальной литературе о ней почти не упоминают.

Заслуженное уважение козе было возвращено лишь в связи с распространением знаний об аллергии на продукты питания. Оказалось, что козье молоко меньше вызывает аллергию, чем коровье. Оно стало модным продуктом, его охотно покупают.

Сегодня у Яблонских 50 козых маток с козлятами. На дойку надо вставать в 5 утра. Агата справляется с этим за два часа, другие работают значительно дольше.

— Я тут организовала добровольный трудовой лагерь, — говорит Агата. — С удовольствием принимаю у себя знакомых и незнакомых за помощь по хозяйству. Однако часто все заканчивается благими намерениями. Как это было с одной барышней, которая приехала, чтобы поработать, а потом оказалось, что у нее не руки, а ручки, — Агата иронически изображает, как та подпиливала ногти. — Она не могла даже чай заварить: пятилитровый чайник был для нее слишком тяжел. Наши друзья предварительно тренируются в спортзале и... выдыхаются за час переборски сена.

КОЗЬЯ ИМПЕРИЯ

Козья ферма расширялась, требуя все новых и новых инвестиций. Надо было как-то перерабатывать молоко, наладить производство молочных продуктов. Здание фермы красивой и современной, чем дом Яблонских. Агата по книгам научилась изготавливать сыр, разработала собственную рецептуру. Она задумала «запрячь в работу» местные бактерии, а не так, как все, — импортные из Франции. Сыр у нее получается очень вкусный. За сутки здесь перерабатывается 250 литров молока от 50 коз и шести коров на творог, сычужные сыры, масло, сметану. Два раза в месяц Агата возит их в варшавские магазины и рестораны. Немного продуктов остается в Ужранках: для туристов из палаточного лагеря возле дома. Агата организует также «экологический кемпинг», продукты питания у нее часто заказывают министерства и парламент.



— Переезжая в Ужранки, я боялась, как нас примут местные крестьяне, — говорит Агата. — Им тут житьется трудно. Это или переселенцы, или люди, потерявшие себя за долгие годы работы в госхозах. Они безработные. Без корней. Только пресловутое вино «Аризона» им и осталось.

Однако с соседями установились хорошие отношения. Несколько человек Яблонские трудоустроили в своем хозяйстве. Вместе с мамой Агата помогает местным ребятишкам готовить уроки, один из их подопечных вскоре собирается сдавать экзамены на аттестат зрелости. Агата хочет в будущем работать с трудными подростками. Мечтает о новом здании, с помощью которого можно было бы зарабатывать, сдавая на лето отдыхающим, а на остальное время года превращая в терапевтический центр.

— И все это я осуществлю, как осуществила мечту о деревне, — говорит Агата.

ДИЕТА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ

Сельский дом Куявских устроен прекрасно. Большая гостиная, выложенные кафелем полы, стены обшиты сосновыми панелями. Возле камина коллекция старинных утюгов, рядом — довоенные радиоприемники. По стенам хозяйка развесила сплетенные в косы березовые ветки, здесь и часы с кукушкой. На чердаке — вязанки из трав.

— Когда дети разъехались на учебу, дом опустел. Грустно было смотреть, как по комнатам только пыль кружит, — говорит Беата Куявская. Сама она небольшого роста, но в ее рукопожатии чувствуется решительность и незаурядная жизнеспособность. Теперь она круглый год принимает туристов, а они в восторге от ее домашней вегетарианской кухни — овощных котлет, грибной икры, печенья из муки крупного помола с корицей и изюмом.

Три года назад у Беаты Куявской нашли опухоль грудной железы. Сделали операцию. Во время выздоровления она прочитала книгу о лечении диетой. Когда врач прописал полгода химиотерапии и облучения, она взбунтовалась.

— Я отправилась к другому врачу, сказала, что хочу бороться сама, — рассказывает Беата.

«Это может получиться», — ответил он. Беата попала на курорт, где проводилось лечение диетой. Она ела овощи, каши, пила отвары из трав и сок из свежих фруктов. Научилась сочетать компоненты питания так, чтобы они лечили или хотя бы не приносили вреда. Исследования показали, что количество раковых клеток в ее организме уменьшилось. Диета навсегда поселилась в ее кухне.

Большинство знакомых ничего не понимали. «Ты не ешь мяса? Кто это слышал, чтобы в деревне не ели мяса? У тебя сил не будет», — говорили они. Но Беата Куявская не жалуется, сил ей хватает: и на жизнь, и на общественную деятельность, теперь она еще и депутат местного совета в повете, ее фамилия часто появляется в газетах. Недавно она вместе с приятельницами собирала пожертвования для больницы в Хшанове:

— Мы продавали домашний хлеб, вегетарианский смалец, косички и корзинки из березовых веток. Все расхватали, как горячие пирожки, — говорит она с гордостью.

У Беаты и Веслава Куявских 50 гектаров земли в Кужентнике, в 20 километрах от Покшидова, где живут Бабальские.

— С паном Мечиславом я познакомилась через его сестру. Он сразу же занялся нами, как только услышал, что мы хотели бы преобразовать наше хозяйство в экологическое, — с благодарностью в голосе говорит пани Беата.

— Два года переходного периода — это трудное время. Запущенная земля плохо родит.

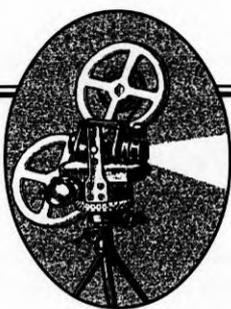
— Мы знаем, что на экологических продуктах богатства не наживешь, но для нас важнее всего здоровье, — вторят друг другу Куявские. — Мы ездим на курсы, учимся вести экологическое хозяйство. Очень скоро мы уже сможем питаться тем, что уродится на нашей земле.

Но экология — это не только способ обработки земли и здоровое питание.

— До недавнего времени я не представляла себе, что экологией и стремлением жить в гармонии с природой я занималась тогда, когда никто еще так этого не называл, — говорит пани Беата. — Вот уже много лет я обучаю натуральным методам планирования семьи. Зная свое биологическое время, женщина может управлять своим телом без помощи гормонов. Я сама запланировала не только момент появления на свет моих детей, но и их пол.

Наше тело и сама природа говорят с нами, подсказывают, как с ними обращаться, — достаточно лишь изучить их язык и научиться слушать. Но многие, стараясь заглушить эти голоса, смотрят на человека и на мир так, словно это механические куклы: больное сердце? — заменить, вредители? — уничтожить. А ведь это лишь зашифрованное сообщение о том, что где-то мы сделали ошибку и надо эту ошибку исправить, считает пани Беата.

Константы
Ильдефонс
Галчинский



Перевод
Иосифа Бродского

МАЛЕНЬКИЕ ЗАЛЫ

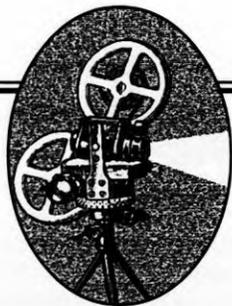
В сильной тоске, в печали
лучше всего укрыться
в маленьком кинозале,
с плюшевым креслом слиться.
Снаружи ветер колышет
листья, и тени кружат,
покрывая афиши
причудливой сетью кружев.
А дальше, блестя глазами,
шнурки, грильяж, папироски
высокими голосами
предлагают подростки.
О! Стемнело. Усталый месяц
вытянул руки.
Маленькие кинозалы
прекрасны в тоске, в разлуке.
Кассирша с прядью волнистой
в будке царит золотистой.
Билет покупаешь иходишь
в сумрак, где фильм поет.
Шумит кинолес блестящий,
пальмовый, настоящий,
и в луче серебристом
дым сигарет снует.
Как славно тут притулиться,
скрыться от непогоды,
с плюшевым креслом слиться
и умолкнуть на годы.

Плещет в сердце бездомном
река
в серебристом свете.
Дремлешь в том зале темном
любовным письмом в конверте:
«Ты — как звезда над бором.
Ложусь я в постель пустую.
Где тот мост, на котором,
встретимся вновь?

Целую».

Выходишь грустен, туманен,
заарка — заэкранен,
бредешь пустырем и шепчешь:
тут бы и кончить дни,
в кинозалах случайных.
Это — царство печальных.
В них так просто забыться.
Как прекрасны они.

Автору «Морских повестей» Станиславу Марии Салинскому.



Ежи Плажевский

ЧТО ДОШЛО ДО ПОЛЬСКОГО ЗРИТЕЛЯ, А ЧТО НЕТ?

Современное российское кино

В начале 2003 г. «Гутек Фильм», одна из самых серьезных польских кинопрокатных фирм, выпустит на экраны польских кинотеатров эпопею Александра Сокурова «Русский ковчег».

Мне не хотелось бы сразу усматривать в этом какой-то серьезный перелом, однако польская премьера экспериментального фильма Сокурова может быть знаком заметного прогресса в ознакомлении польских зрителей с достижениями российского кино.

Действительно, после 1989 г. польская публика отвернулась от кинофильмов из СССР и бывшего СССР — и психологически это было оправдано. В период «реального социализма» польские кинотеатры были ими буквально наводнены. Наряду с шедеврами и выдающимися кинофильмами (которые, разумеется, никогда не преобладали), на экранах во множестве появлялись китч и серость. Советских кинофильмов было слишком много. А американских — слишком мало, но зато почти исключительно лучшие. Если зритель находил в газете сообщение, что идет американский фильм, то знал, что пойти стоит. А когда советский — наоборот. Не помогали никакие «Месячники советского кино», «Недели дружбы» и т.п. (были случаи, когда в рамках этих самых «Месячников» украдкой проскакивали фильмы из США — для улучшения статистики посещаемости).

После 1989 г. ситуация изменилась на 180 градусов. Наряду с шедеврами американского кино нас захлестнула волна голливудской дешевки, и, когда прошла первая эйфория, зритель научился отличать зерна от плевел made in USA. Но недоверие к кинофильмам, сделанным в странах бывшего СССР, то есть прежде всего российским, осталось. Впрочем, могу ехидно заметить, что недоверием были (и по-прежнему остаются) заражены скорее прокатчики, гонящиеся за прибылью, чем зрители, все больше жаждущие чего-то иного: устроили же они настоящий кассовый успех картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Дошло до того, что если польский критик желает увидеть самые интересные фильмы «с Востока», то ему приходится ехать на фестивали в Канны, Венецию или хотя бы в Берлин! Прибавлю к этому полное бездействие варшавского Центра российской культуры, контрастирующее с активностью центров чешской и венгерской культуры.

Все это, как ни парадоксально, происходит в период, когда кинематографисты в посткоммунистической России, освободившись от цензурных ограничений, директив ЦК КПСС и догм «единственно верной» доктрины «социалистического реализма», могут высказываться открыто, выражать свою индивидуальность и свободно говорить правду об окружающем мире.

Я не безоговорочный поклонник Александра Сокурова (а такие у него есть), много раз я спорил с его спорными произведениями, особенно двумя предпоследними, где весьма своеобразным образом изображены Гитлер и Ленин («Молох» и «Телец»), но «Русский ковчег» — фильм исключительный со всех точек зрения. В едином, непрерывном полуторачасовом движении камеры (цифровой!) мы проходим вместе с режиссером, комментирующим фильм за кадром, но ни разу не оказываемся в кадре, практически через все главные помещения Зимнего дворца, начиная с общеизвестных музейных интерьеров Эрмитажа, далее через театр и балльный зал и заканчивая личными покоями — столовыми, в которых царская семья завтракала. Сокуров не забывает, что в этих интерьерах в течение двух столетий творилась история великой империи и, хронологически перескакивая из одной эпохи в другую, критически оценивает эту историю (в том числе с помощью Астольфа де Кюстина, французского аристократа-путешественника XIX века) — критически, но с трогательной ностальгией.

Сколь многих еще, не менее значимых достижений российского кино наш зритель был (и остается) лишен? За период 1990-2002 гг. я насчитал всего шесть (!) российских кинофильмов, вошед-



ших в репертуар польских кинотеатров. Это «Утомленные солнцем» и «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, спорная «Курочка-ряба» Андрея Кончаловского, «Русский бунт» Александра Прошкина (наверняка из-за пары польский актеров в главных ролях), блестящий «Такси-блюз» Павла Лунгина и «Иисус-чудотворец» (полнометражный анимационный фильм) Станислава Соколова. Сюда же можно отнести, пожалуй, «Лето, или 27 потерянных поцелуев» Нины Джорджадзе. И всё. И ни одного украинского, белорусского, литовского или таджикского фильма.

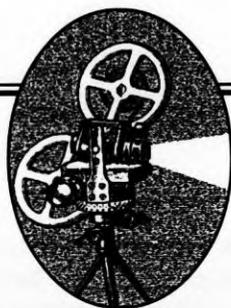
Быть может, возникшую брешь заполнило хотя бы телевидение? Нет. Не делают этого ни вечно алчущие новых материалов частные телеканалы, ни государственное телевидение, которое задвигает довольно редкие и, как правило, случайно выбранные картины на время, когда телевизор мало кто смотрит, зачастую после часа ночи. Похвальным исключением можно назвать осенний Варшавский кинофестиваль. Только за три последних года в его программу были включены «Про уродов и людей» и «Брат-2» Александра Балабанова, «Особенности национальной рыбалки» Александра Рогожкина, «Ботинки из Америки» Аркадия Яхниса, «ДМБ» Романа Качанова, «Обыкновенный большевизм» Евгения Цимбала, а также «Курпе-Туфелька» латышского режиссера Лаймы Пакалныня, «Грузинский виноград» Георгия Шенгелая и внушительная ретроспектива Отара Иоселиани. Важно не то, были ли все названные фильмы действительно самого высокого уровня, а то, что фильмы на Варшавском фестивале показывают два-три раза нескольким сотням зрителей и за пределы Варшавы не вывозят. Еще уже круг зрителей на торуньско-лодзинском фестивале операторского искусства «Camerimage», и уж совершенно мизерный — на просмотр фильмов «с Востока» в провинциальном Лагове.

Итак, чего же был лишен наш зритель? Несколько десятков фильмов, которые зрителям таким, как зрители Варшавского фестиваля, могли бы принести и художественное удовлетворение, и высококачественное развлечение. Здесь я мог бы сослаться на последнюю часть моей книги «История мирового кино», где в главах «1989-2001», посвященных фильмам из России и других постсоветских стран, рассказано о многих интересных кинематографистах или даже целых течениях в кино.

С точки зрения польского историка кино, стоит назвать хотя бы такие достижения старых мастеров, как «Бесконечность» Марлена Хуциева и «Ближний круг» Андрея Кончаловского, смелый исторический синтез Карена Шахназарова в кинофильмах «Царевубийца» и «День полнолуния», чуткий отклик Александра Рогожкина на импульсы эпохи в «Чекисте», «Блокпосте» и «Кукушке», последовательную самоиронию Павла Лунгина в «Луна-парке» или «Свадьбе», тонкого лирика Петра Тодоровского с его картиной «Анкор, еще анкор» и обращающегося к отцовскому стилю Валерия Тодоровского, автора «Любви» и «Подмосковных вечеров», еще одну пару отца и сына: Сергея Бодрова-старшего и недавно трагически погибшего Сергея Бодрова-младшего — первого с конфликтной тематикой «Кавказского пленника», второго — с современным детективом наизнанку «Сестры», нового представителя династии Чухраев, Павла, с его вдумчивым фильмом о юности сталинского поколения «Вор», а также совсем недавно дебютировавших: Валерия Фокина с его «Превращением» Кафки, Лидию Боброву, снявшую постколхозное эссе «В той стране» или Сергея Овчарова с его комедией без диалогов «Барбаниада», над которой витают духи Чарли Чаплина и Бестера Китона.

А ведь не менее достойны того, чтобы с ними познакомиться, и работы мастеров украинского кинематографа — Киры Муратовой (получившей в Берлине премию Анджея Вайды) и Вячеслава Криштофовича; литовского — Альгимантаса Пуйпы и Шарунаса Бартаса; таджикского — Бахтияра Худойназарова; казахского — Дареджана Омирбаева. А в грузинском кинематографе — фильмы великого Отара Иоселиани, снимающего и в Париже, и в Тбилиси.

Уже дважды польские любители кино восторженно навестывали свое киноотставание. Сразу после войны они знакомились с достижениями кинематографа военного времени, а после «оттепели» 1956 г. — со всем, чего десять лет не допускала коммунистическая цензура. Я думаю, что третья такая, хорошо продуманная операция по знакомству с кинематографом «с Востока» была бы встречена не менее восторженно.



ОФИЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — ЭТО СЛИШКОМ МАЛО

Беседа с Анджеем Вайдой

— *В студии русской службы радио «Полония» особый гость — Анджей Вайда. Весной этого года режиссер побывал в Санкт-Петербурге на выставке, посвященной его театральным постановкам по произведениям Достоевского, а также на российской презентации его книги «Достоевский. Театр совести». Сегодня он согласился ответить на наши вопросы, связанные, в частности, с русской темой в его творчестве. Мы хотели бы поблагодарить вас, пан Анджей, за то, что вы согласились встретиться со слушателями нашего радио, вещающего по-русски, за то, что удалось найти для нас место в вашем графике...*

— Для начала скажу, что я не просто согласился, а принял это приглашение с большой радостью, поскольку поездка в Петербург, выставка работ — моих и Кристины Захватович, — связанных с постановками по Достоевскому в краковском Старом театре, и не только там, — все это было для меня очень важно. Я думаю, что в той новой ситуации, которая сложилась в отношениях между Польшей и Россией, недостаточно лишь официального сотрудничества в рамках министерств культуры, крупных организаций и государственных структур. Пришло время, чтобы мы сами, те, кто знает и любит русскую культуру, кто черпает из ее достояния, предпринимали собственные инициативы. Встречи в петербургском музее Достоевского имели для меня огромное значение. Если я больше 20 лет посвятил тому, чтобы по мере возможностей и окружающих обстоятельств показать творчество Достоевского на польской сцене, то наступил момент взять дело в свои руки и спросить Музей Достоевского, не заинтересуется ли он выставкой, посвященной театральным спектаклям и

кинофильмам по произведениям Достоевского, поставленным в Польше и других странах. И я был счастлив, что петербургский музей согласился принять этот своеобразный результат моих творческих мук, размышлений, трудов. К этому добавилась презентация в Санкт-Петербурге моей книги «Достоевский. Театр совести». Надеюсь, что она заинтересует всех, кому близко творчество великого писателя. В этой книге есть и мои собственные размышления, то, как я вижу произведения Достоевского, мои переживания, связанные с ними. Достоевский с самого начала, еще при жизни, стал писателем, которым интересовались мастера театрального искусства. Сохранилось письмо Достоевского к Одоевской, в котором писатель сам предостерегает от инсценировки романа «Бесы» — он пишет, что не верит в возможность перенести роман на сцену. Однако в том же письме есть оговорка, что если сделать какие-то радикальные шаги по переделке романа для сцены, то, возможно, и получится что-то осмысленное — то, что никогда не получится при механическом перенесении сюжета. Это очень глубокое замечание — оно может быть ключом к инсценировкам его произведений. Те известные нам спектакли, где режиссер обошелся с Достоевским, скажем, безжалостно, оказались настоящими. Для меня главной задачей при постановке романов Достоевского был перевод («перевод» в данном случае — самое подходящее слово) силы мысли автора, его духа, философии, мировоззрения на язык сцены.

— *В одном из ваших эссе вы пишете, что во время репетиций спектакля по «Бесам» в краковском Старом театре у актеров вдруг проявились самые худшие, самые темные черты характера. Что же такое содержится в матери «Бесов», а может, и во всем творчестве Достоевского, что проис-*



***ходят такие вещи со зрельми людми?
Почему так происходит?***

— Я думаю, что мало в мире писателей, которые так, как Достоевский, знали человеческую душу, в том числе — и прежде всего — с худшей ее стороны. Почему же мы все время обращаемся к Достоевскому, почему мы ставили, ставим и будем ставить его на сцене и в кино? А потому, что его произведения, хоть и написанные в православных традициях, основаны на универсальном Евангелии и не только содержат цитаты из Евангелия, но и несут в себе саму конструкцию евангельских сюжетов. Видимо, это может объяснить феномен близости творчества Достоевского людям западной культуры, которые называют его «своим» писателем. Его герои — противоречивые, непредсказуемые, сложные личности, но они — понятны. Мы говорим: «Да, таков человек»... А актеры, играющие героев романов Достоевского, стремящиеся углубить образы, вжиться в их внутренний мир, постепенно сами в себе обнаруживают такие качества, которых сами не ожидали. Вернее, не столько они сами в себе их открывают, сколько Достоевский в них это открывает.

— В Санкт-Петербурге вы проводили занятия с молодыми российскими актерами. Как вы оцениваете творческий потенциал нового поколения воспитанников русской актерской школы, и над чем вы с ними работали?

— В России были, есть и всегда будут замечательные и великие актеры! Ибо великие актеры рождаются там, где много людей говорят на одном и том же языке. Таково воздействие языка большого народа, большой культуры. Так что и сегодня в России рождается множество талантов... Не говоря уже о том, что Россия — родина гениального Станиславского и его первой в мире научной и глубоко философской системы воспитания актера. А значит, люди сцены в этой стране не только талантливы, но и воспитаны на замечательных традициях, и традиции эти живы по сей день. Что касается занятий с актерами в Петербурге, то я пытался вместе с ними сделать шаг к воплощению моей мечты. А мечта эта связана с замыслом еще одного, третьего варианта спектакля, в основу которого положен роман «Идиот». Я уже поставил два спектакля по мотивам «Идиота». Первый — в краковском Старом театре, где играли только два актера.

Спектакль назывался «Настасья Филипповна». Я взял последнюю сцену: Рогожин и князь Мышкин над трупом Настасьи... Затем был спектакль в Токио, а позже в Осаке с великолепным японским актером Онагато. У этого актера постоянное амплуа в традиционном японском театре, которое может быть определено примерно так: мужчина, исполняющий женские роли. Познакомившись с самим Онагато и его уникальным дарованием, я подумал, что мог бы поставить с ним спектакль, в котором князь Мышкин и Настасью сыграл бы один и тот же актер. Герой и героиня в одном лице! Так родился спектакль «Настасья». Но позже я пришел к мысли, что есть еще один, очень важный для меня аспект этого романа Достоевского, который мне хотелось бы воплотить в театре. А именно: князь Мышкин, несущий крест... Не нательный крестик, а настоящий тяжелый деревянный крест на спине, какой носили юродивые на Руси. Мне было интересно, как моя идея воспримется актерами в России, и работа с ними в Петербурге как раз и заключалась в этоадах, подготовительных репетициях к спектаклю с такой трактовкой образа князя Мышкина. Моей целью, конечно, была не сама постановка спектакля: за неделю, которая была мне отведена, сделать это невозможно. Но, может быть, кто-то в России захочет вдохновиться моей мыслью о таком спектакле, с таким князем Мышкиным?.. Я был бы счастлив приехать когда-нибудь в Петербург и узнать, что такой спектакль поставлен, увидеть его на сцене.

— Отличалась ли работа с актерами — носителями той культуры, которая породила Достоевского, от работы с актерами в других странах, например в Польше?

— Хорошие актеры везде хороши. А хороший актер — это тот, кто понимает, что делает, и активно включается в творческий процесс, впитывая в себя при создании образа всю информацию, которую он получает от автора, от режиссера, от своих партнеров. И при этом — думает самостоятельно. С такими актерами мне посчастливилось работать везде, независимо от их возраста, страны, традиций. В первую очередь для меня всегда имеет значение готовность актера посвятить себя театру целиком, без остатка.

— Каково ваше личное восприятие сегодняшнего Санкт-Петербурга? Не-



которые считают, что в советские времена Ленинград был оазисом духовности. Сохранил ли в ваших глазах этот город свою духовную атмосферу в условиях, так сказать, свободного рынка?

— «Духовность» Ленинграда советских времен заключалась в царившей там ужасающей бедности. Это был такой бедный город, что просто жаль было видеть, насколько трудно и плохо живет в нем людям. И если «духовностью» называется это, то лично я предпочитаю Санкт-Петербург таким, каков он сегодня, ибо в новых условиях хотя бы часть его жителей может осуществлять свои планы и мечты. А это, в свою очередь, даст толчок к подлинному возрождению всего города. Безусловно, все жизненные артерии Петербурга: канализация, электричество, дороги, здания — требуют генерального, причем одновременного ремонта. Конечно, средства для этого нужны колоссальные... А ведь надо сохранить еще и историческое наследие города. Так что город стоит перед очень трудной задачей, для выполнения которой недостаточно позолотить церковные купола и покрасить несколько фасадов, как это сделано сейчас. В общем, Петербург напоминает мне тяжело больного человека с закупоренными венами, живущего остатком сил и срочно нуждающегося в операции.

— Недавно вы открыли новое кинематографическое учебное заведение. Польша славится на весь мир государственными вузами — Высшей киношколой в Лодзи, в Катовице. С чем связана идея основать собственную школу?

— Киношколы в Лодзи и Катовице имеют несколько факультетов, где учатся будущие режиссеры, операторы, продюсеры, художники кино и есть также заочные отделения по сценарному мастерству. А школа, которую мы открыли вместе с Войцехом Марчевским в Варшаве, организована иначе. Вообще, строго говоря, она не является высшим учебным заведением. Учеба в ней длится только один год, да и цели другие, чем у вуза. Ведь в чем крылась сила польского кинематографа с момента моего дебюта в середине 50-х до времени Кеслёвского и далее, до дебютов младшего поколения режиссеров? А в том, что существовали отдельные киногруппы. Выпускник Высшей киношколы после окончания учебы искал работу в одном из таких творческих коллективов, которых в

разное время, в зависимости от исторического периода, было в Польше пять-восемь, иногда чуть больше. И молодой режиссер мог выбрать себе подходящее место для дебюта. Причем, хочу подчеркнуть, дебют волновал не только самого выпускника, но и всех, кто ему помогал в съемках первой профессиональной картины, то есть директора картины, завлита, сотрудников производственных отделов и так далее. Они помогали дебютанту редактировать сценарий, находить декорации, пленэр, подбирать подходящих актеров и все необходимое для съемок картины. В результате режиссерские дебюты не носили характера любительских или даже полупрофессиональных фильмов, а сразу были профессиональными. К сожалению, после 1989 г. эти киногруппы начали распадаться, одновременно перестав играть роль коллектива мастеров-помощников. И стало ощущаться отсутствие некоего связующего звена между вузом и первым фильмом. Тем более что обе наши замечательные Высшие киношколы оказались в последние годы вне поля зрения кинопроизводства. Центры киноиндустрии сконцентрировались в столице. Впрочем, этот процесс коснулся всех европейских стран... А киностудия в Лодзи, увы, переживает глубокий кризис. И так, студенты нынче — сами по себе, а производство — само по себе. Поэтому мы с Войцехом Марчевским пришли к выводу, что пора изменить положение и создать молодым кинематографистам условия для плавного перехода от учебы к творческой работе и овладению принципами производства картин. Кроме того, множество молодых людей уже работают на телевидении, в кино, в сферах, связанных с этим, и не могут позволить себе бросить работу на пять лет, да и ни к чему им начинать учебу с азов. Они просто хотели бы пройти интенсивный режиссерский тренинг. Но такой школы, которая позволила бы им это сделать, в Польше не было. Теперь, когда мы ее создали, студенты могут прийти к нам с готовым сценарием, и мы начнем вместе работать над ним таким образом, чтобы к концу учебного года режиссеры оказались намного ближе к съемкам конкретного сценария.

— Студентами вашей киношколы могут стать подающие надежды молодые люди из любой страны, или есть какие-либо географические ограничения?

— На первый год мы приняли молодых людей только из Польши, ведь это все-таки польское учеб-



ное заведение. Но уже сейчас готовится полугодовой курс документального фильма, который будет вести режиссер Марцель Лозинский на двух языках: польском и французском. На этот курс мы планируем международный набор. А на будущий год мы возьмем по обмену студентов Европейской академии киноискусства в Копенгагене, с которой тесно сотрудничаем. Но настоящая моя мечта — сыграть ту роль, которую Господь Бог поручил нам, полякам: соединить Восток с Западом. Мне очень хочется, чтобы наша школа стала хорошим примером готовности поляков исполнить свою миссию. Я мечтаю увидеть среди наших студентов молодежь из Москвы, Петербурга, Киева, Львова, Вильнюса, других городов и местностей, расположенных к востоку от Польши. И чтобы эти молодые люди могли в стенах нашей школы и после ее окончания и сотрудничать, и творчески соперничать со своими ровесниками, к примеру, из Дании, Голландии, Финляндии и так далее. Пусть это будет школа друзей, действующая во имя возрождения европейского кино!

— *Значит, вы считаете, что сегодня европейский кинематограф нуждается в преобразованиях?*

— Европейскому кино необходимо снова обрести ту мощь, которая у него была еще несколько десятилетий назад. Вспомните мастеров итальянского неореализма, вспомните послевоенный немецкий кинематограф, потрясающие фильмы, снятые в Великобритании, Франции, кино «новой волны»... Все это давало нам, европейским режиссерам — а я всегда чувствовал себя именно европейским режиссером, — прилив сил, чувство сопричастности к великому творческому процессу. К сожалению, сегодня европейское кино поблекло. Ему необходимы новые силы, новые люди, новые идеи.

— *В своих предыдущих интервью и выступлениях вы неоднократно упоминали о том, что мечтаете снять фильм о современности. Удалось ли вам найти подходящий сценарий?*

— Да, такой сценарий есть, и не один. Но я по-прежнему мучаюсь вопросом, какой фильм нужен сегодня? Речь идет не только о том, чтобы сюжет разыгрывался в современных интерьерах. Наверное, зрители ждут, чтобы с экрана им рассказали о них самих, переживающих время преобразований в стране, о мыслях и чаяниях, о сбывшихся и не-

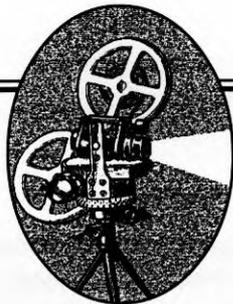
сбывшихся надеждах. О требованиях, которые каждый ставит сам себе в связи с новой действительностью и о тех людях, которые не в силах справиться с этими требованиями... Показать это в кино очень сложно. Главная сложность — в недостатке литературного материала, такого, какой был в период формирования так называемой польской школы кино, которую представляют Анджей Мунк, Ежи Кавалерович, Казимеж Куц и другие мои коллеги. У нас была отечественная литература, которая отражала наши животрепещущие проблемы и при этом была философского содержания. Сейчас такой литературы практически нет. Многие режиссеры, которые хотят сделать фильм на современную тему, обречены на собственный литературный талант. Увы, не у всех он соответствует, например, таланту постановщика. В этом, мне кажется, заключается большая слабость нынешнего польского кино. Но я надеюсь, что мне удастся снять такой фильм, о котором я говорил. Просто его идея еще вынашивается.

— *Мне бы хотелось задать вам вопрос, наверняка волнующий российских поклонников вашего творчества: ваши фильмы и театральные постановки по Достоевскому, Булгакову и Лескову — это уже закрытая глава, или же вы планируете еще обращаться к наследию русской литературы?*

— Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Во-первых, потому что я расстался с театром — и мне нужно было бы найти какой-то повод для того, чтобы к нему вернуться. Я ближе к кино, чем к театру, хотя многие годы работал в театре и театральных спектаклей на моем счету не меньше, чем фильмов. Нет, сейчас я не в состоянии ответить на вопрос, что из русского наследия могло бы еще стать предметом моих работ. Может быть, поэтому я так и старался, чтобы выставка моих работ по Достоевскому оказалась в Петербурге, чтобы она была доказательством того, что я годами работал с текстом Достоевского, годами пытался его понять. Может, когда-то мои труды кому-то пригодятся.

беседу вели Ирина Завиша и Якуб Садовский





Януш Врублевский

ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ

Основанное Анджеем Вайдой вместе с Войцехом Марчевским, Эдвардом Жебровским и Марцелем Лозинским первое в Польше частное учебное заведение, готовящее режиссеров, существует с мая. Оно сильно отличается от других киношкол.

Школа режиссуры художественного кино Анджея Вайды находится на Хелмской улице в Варшаве. Меньше чем через полгода первый выпуск покинет ее стены. Подопечные Вайды и Марчевского должны положить начало обновлению польской кинематографии.

— Надо все перевернуть вверх ногами, — образно объясняет Марчевский, которому нравится, когда его называют мозгом всего предприятия. — Если бы ничего не изменилось, то фильмы продолжали бы снимать только испытанные режиссеры старшего и среднего поколения. А для молодых не будет места. Впрочем, — добавляет он, — так должно быть в каждой здоровой кинематографии, однако при условии, что внизу что-то зарождается.

Марчевский знает, о чем говорит, так как похожую революцию раз уже устраивал. Не зря датчане называют его духовным отцом «Догмы» (современного течения в датском кино). Вместе с ректором киношколы в Копенгагене Хеннингом Кемре и со сценаристом Моркенсом Руковом этот поляк перевернул всю систему художественного обучения в Дании. Он порвал с авторитарным стилем преподавания, возродил товарищеские отношения в школе, на занятиях требовал думать, а не зазубривать. Все это привело к зарождению датской «новой волны». Теперь своим опытом он хочет поделиться в Польше.

— Катовице и Лодзь — это хорошие, традиционные школы, — отмечает Марчевский. — Наше учебное заведение — это эксперимент. Оно не обучает профессии, а лишь помогает подготовить свой первый художественный фильм тем, кто уже умеет снимать. Это единственная в Европе, а может, и в мире школа, которая доводит проект от замысла до осуществления. Студент не обязан иметь готовый сценарий. Важно, чтобы он умел его написать, а мы, используя наш авторитет и знания, хотим довести его до производства.

Задача эта нелегкая. Средняя стоимость постановки фильма составляет нынче около 4 млн. злотых. Однако, если экономить, можно снять и за миллион.

— Нас интересует низкобюджетное производство, — подтверждает Марчевский. — А если эти суммы окажутся слишком большими, будем искать подходящих продюсеров или спонсоров и сделаем эти фильмы за сто тысяч. Без гонораров, чуть ли не собственными средствами. Студенты в это верят. Они убеждены, что Вайда сделает все, чтобы у них получилось. Если не получится, значит, это не в его силах.

Студенты дружно кивают:

— И не будем в обиде.

Один из слушателей школы на Хелмской — Славомир Фабицкий, выдвигавшийся в этом году на «Оскара» за этюд «Мужское дело». Он признаёт, что, если бы не новый тип этого учебного заведения, ему не было бы смысла возвращаться в школу. На занятиях он проверяет сценарий, постановочную часть, распределение ролей, у него хватает времени на работу с актерами. Он сживается с проектом, который в будущем хочет осуществить. Над одной сценой работает 4-5 дней. Это напоминает ему пробные съемки или упражнения по мастерству. При переходе к производству у него уже не было бы на это времени.

Преподаватели приходят на занятия, дают советы, разговаривают, включаются в работу. Студенты их слушают, но не обязаны выполнять их рекомендации. Отношений «учитель—ученик» не существует. За невыполнение совета Вайды исключение из школы не грозит.

— Правы не мы, а студенты, — смеется Марчевский.

Поэтому в школе не ставят отметок, не выясняют, кто дурак, а кто умный, нет ни обязательного чтения, ни контрольных работ. О теории речь вообще не заходит. Занятия носят характер групповых консультаций. Разбираются трехминутные сценки из рабочего сценария. Затем каждый из студентов должен снять эту сценку цифровой камерой. После съемок все меняются ролями. Режиссер становится ассистентом, записывает звук либо устанавливает коллеге декорации. Затем — коллективный просмотр смонтированного материала и обсуждение. Каждый прямо говорит, что, по его мнению, вышло удачно.



— Такая уйма мозгов работает отлично, — оценивает Дениял Хасанович, выпускник киношколы в Лодзи, уже имеющий на своем счету чрезвычайно удачный часовой телевизионный фильм «Письмо» о войне на Балканах. — Люди высказывают различные идеи, глупые и неглупые, а я отбираю то, что мне кажется верным.

Не он один подчеркивает, что в школе нет конкуренции. Атмосфера нравится всем. В Лодзи, говорят, такого не было. Там надо было расталкивать других локтями, чтобы тебя заметили. Здесь соперничества не существует, хотя некоторые обижаются, когда слышат, что сделали что-то плохо. Каждый из тринадцати учащихся может похвастаться теми или иными достижениями. Есть несколько известных журналистов и сценаристов (среди них — Анджей Сарамонович, автор сценария кинофильма «Полусерьезно» и превосходной пьесы «Тестостерон», поставленной театром «Монтовня»), дипломированных режиссеров (например, Ивона Секежинская, которая только что сняла свой первый фильм, и Мартин Врона — выпускник катовицкой школы, автор получившего премии на международных фестивалях короткометражного фильма «Человек-магнит»), кинолюбителей (как Якуб Нестеров, недавно получивший главную премию на конкурсе любительских фильмов). Есть люди из Варшавы, Вроцлава, Ольштына. Им от 26 до 45 лет. У них разный запас профессионального и жизненного опыта. Если начинается спор, от этого все только выигрывают.

Учебные сессии, продолжающиеся несколько дней, проходят раз в месяц. Процесс обучения отвечает запросам студентов. В небольшом белом здании на территории Студии документальных и художественных фильмов, где расположена школа, постоянно можно встретить кого-то из преподавателей, подсесть, поболтать. Никто не чувствует, что его эксплуатируют или обижают. Встречи напоминают занятия психотерапевтической группы. Люди стараются познакомиться, понять друг друга, найти наилучшее решение исходя из конкретного человека. Во время сессии все с утра до ночи находятся вместе. В перерывах в небольшом зале на первом этаже, переделанном под кухню, готовят обеды. Можно выйти в садик или, если нужно, запереться в одной из трех монтажных. Иногда сюда заходят несостоявшиеся студенты, провалившиеся на экзаменах (на прием претендовали около 150 человек). Присматриваются, прощупывают, здороваются со знакомыми. Один из них, провалившийся на последнем, третьем туре, уперся на том, что докажет Вайде и остальным экзаменаторам, что они ошиблись. Ходил, пока не получил второй шанс.

— Комиссия имеет право ошибиться, — сказал Марчевский, внося его в список студентов.

Кроме любви к кино их на самом деле ничего не связывает. Они хотят снимать современные, недорогие фильмы о проблемах простых людей. Каждый по-своему, в соответствии с тем, что чувствует. Славомир Фабицкий идет таким же путем, как в представленном на «Оскара» «Мужском деле». Мартин Врона готовится к полнометражному фильму о социальной жестокости, который будет состоять из нескольких новелл. Темы он ищет в провинции.

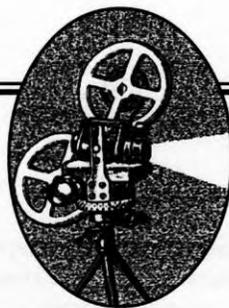
— Достаточно послушать разговоры, и получается фильм, — говорит он.

Врона особенно сетует на нетерпимость поляков. Анджей Сарамонович расценил прошедшие сессии как подготовку к проекту, который, может быть, удастся осуществить осенью. Комедия называется «Тело» и рассказывает о небольшой группе молодых людей, которые попадают в водоворот абсурдных происшествий.

Главным недостатком польского кино считается его полная оторванность от реальности. Ему не хватает отражения изменений, происходящих в обществе после 1989 года. Никто не снял, например, фильма о социальном расслоении, о том, как сейчас живут люди. И в литературе, которая тоже пренебрегает действительностью, режиссеры не находят себе вдохновения. Так что же их вдохновляет? Скорее улица, газета, телерепортаж, даже отдельная фотография.

— Слабость молодых людей состоит в том, что они рассказывают о себе и не хотят рассказывать того, что могло бы заинтересовать других, — заключает Вайда. — В нашей школе нам хотелось бы продолжить традицию кино, рассказывающего о проблемах, которые волнуют всю страну. Удастся ли это? Марцель Лозинский надеется, что из этого возникнет коллективный портрет поколения.

Замысел создания школы, которая готовила бы режиссерскую элиту, Вайда вынашивал со времен роспуска знаменитого кинообъединения «Х», которым он руководил в 70-е. Тогда Вайде удалось сплотить вокруг себя большую группу еще малоизвестных режиссеров, таких как Агнешка Холланд, Рышард Бугайский, Феликс Фальк, — молодых, дерзких, желавших изменить облик польского кино. Объединение было местом столкновения взглядов, борьбы идей и художественных концепций. Вайда раскрыл над молодежью защитный зонтик, боролся за них, помогал им. Благодаря его решимости в итоге все сняли свои первые фильмы. Так должно быть и сейчас.



Кшиштоф Занусси

МОРАЛЬНЫЕ ДОСПЕХИ

В одном из своих фильмов Вуди Аллен шутит, что клуб, который согласился бы принять его в свои члены, недостойн того, чтобы в него вступать. Я сам часто участвую в различных конгрессах и тоже иногда бываю близок к тому, чтобы сказать нечто подобное: раз приглашают меня, то, по всей вероятности, туда и ехать не стоит. Но обычно я не поддаюсь слабости и езжу всюду, куда меня приглашают.

На прошлой неделе в Швейцарии я попал на встречу, которая в течение ряда лет проходила под лозунгом «морального перевооружения» (по-английски «moral gearmament»), а в последнее время сменило название на «Инициативу за перемены». Отнюдь не всякое изменение — всегда к лучшему. Нередко бывает как раз наоборот, но в данном случае изменение оказалось необходимым, так как во многих странах (главным образом в Германии) вызывало протесты не только звучащее по-военному слово «перевооружение», но и слово «моральное». Как сообщил мне один из организаторов, мораль связана с запретами, а запреты привели к зарождению национал-социализма. Мне подобное рассуждение не кажется убедительным, но, может быть, я ошибаюсь.

Среди нескольких сотен участников конгресса были представители многих национальностей, а также нескольких поколений. Некоторые из самых пожилых были свидетелями ростков примирения между Германией и Францией, путь которому прокладывал Конрад Аденауэр. Из этого примирения вырос сегодняшний Евросоюз, и об этом напомнил в своем вступительном слове почетный гость из Польши, профессор Бронислав Геремек. Читая текст его выступления, я подумал, что мы слишком часто недооцениваем тот факт, что среди нас есть люди, которые могут на подобных международных мероприятиях выступать и тем самым «зарабатывать очки» для Польши. Мы жалуемся, что после всех исторических потерь наша прослойка интеллигенции стала немногочисленной, а должны скорее радоваться, что у нас вообще есть хоть кто-то, кем можно гордиться. Я знаю страны немногим меньше нашей, где нет вообще никого, кто мог бы выступить на таком форуме.

Среди знаменитостей, которых мне там довелось увидеть, были внук Ганди и англиканский епископ из Лондона (между прочим, еще и выдающийся пианист-виртуоз), целое созвездие журналистских светил первой величины и, наконец, несколько представителей так называемых творческих кругов. Среди них была русская делегация, которая показала фильм моего друга Константина Лопушанского. Лейтмотив этого фильма — протест против того, что русский народ оказался обманутым, а рыночные преобразования не принесли благополучия огромным массам беззащитных пенсионеров. Дискуссия после просмотра разгорелась не на шутку, ибо западный, прагматический подход заставлял выступающих ставить конкретные вопросы: кто именно обманул русский народ и как повысить уровень жизни пенсионеров, если созданное ими национальное достояние ничтожно?

Другим кинематографическим событием стал показ экранизированной австралийцами автобиографии бывшей медсестры, которая сегодня заседает в чешском Сенате, а в свое время в качестве медсестры присутствовала при агонии Яна Палаха, покончившего жизнь самоубийством в знак протеста против советского вторжения в 1968 году. Впоследствии главная героиня подписала согласие сотрудничать с чехословацкой госбезопасностью, и хотя до самого сотрудничества дело так и не дошло, но перед судом совести ей пришлось оправдываться, почему она, запуганная, озабоченная судьбой своих детей и возможностью дать им высшее образование, это согласие подписала. Рассказ сам по себе чрезвычайно волнующий, но еще и заставляющий задуматься над тем, как можно простить то, что было лишь потенциальной виной. И не лучше ли просто забыть, стереть из памяти все зло, на котором основывался тоталитаризм?

В дискуссии после просмотра немецкий политик, связанный с христианскими демократами, призывал именно к этому — как единственному пути, который позволит прервать бесконечную цепь насилия и бесправия. Никаких лustrаций, никаких судебных процессов — только амнистия, амнезия и еще несколько разных латинизмов.

Я прислушивался к этим голосам с глубоким смущением. Неужели от «морального перевооружения» осталось лишь убеждение, что «кто старое помянет, тому глаз вон», и ради всеобщего спокойствия придется распрощаться даже с надеждой хоть на какие-то элементы правосудия на этом свете? И все это во имя мирного сосуществования и гармоничного согласия? Я не осмелился спросить, были ли в свете этой философии ошибкой похищение и процесс Эйхмана и не надо ли было в Нюрнберге заняться уговорами и терпеливо перевоспитывать вождей Третьего Рейха?

Адресуя этот вопрос моим русским знакомым, я вспомнил о своем разговоре с Иосифом Бродским на Капри, когда я спросил его, почему он не приезжает в Петербург. В ответ он спросил меня: а как ему повести себя, если бы на Невском проспекте он встретил, к примеру, ту медсестру из психушки, которая делала ему инсулиновые инъекции, чтобы с помощью шока «излечить» его от инакомыслия? Наверняка и та медсестра, и ее начальник работают в том же отделении — разве что пошли на повышение. Может ли Россия морально возродиться, не потребовав от своих граждан ответа за то, что они делали при коммунистическом режиме? Или же прав немецкий политик и все, кто в слове «мораль» усматривает угрозу свободе?

ПОЛИТКА



ЗЕМЛЯ И ТУЧИ

Беседа с Шевахом Вейсом



— В энциклопедии Оргельбранда 1860 года я нашла заметку о Бориславе: «Борислав — деревня в Галиции, в Самборском округе, в Дрогобычском повете; латинский приход и почта в Дрогобыче, греческий приход в самой деревне. Жителей 646, территория 1428 моргов. Имеется промысел камфина, очищенной нефти для освещения; вырабатывается до 4500 центнеров в год».

— Через полвека в Бориславе было уже пятьдесят тысяч жителей — нефтяной промысел разрастался. Вся жизнь вращалась вокруг нефти. Помню, как в отцовскую лавку приходили рабочие-нефтяники, как пахло нефтью. До сих пор люблю этот запах.

В 1892 г. на Борислав приходилось 4,5% мировой добычи нефти. А неподалеку — Трускавец, прекрасный санаторий. От нашего дома до Трускавца было четыре километра. А семья Гуралей жила в километре от нас и в трех километрах от Трускавца.

Там, где я родился, в Бориславе, была интересная жизнь, смешение культур — поляки, украинцы, евреи, немцы, цыгане... Все жили вместе. Я бы не сказал, что это была интеграция в полном смысле слова, скорее — этническая конфедерация, в этом плюрализме была и общность, и антагонизмы. Иной раз брали верх антагонизмы, порой преобладала общность. Примерно так, как с языком идиш. Идиш — чудесный, интереснейший язык, он впитал основы и элементы других языков, был таким же международным языком, как эсперанто.

Профессор Заменгоф, тот, что придумал эсперанто, был евреем. Существенный факт — то, что именно еврей изобрел международный язык. Ведь мы, евреи, два тысячелетия жили в рассеянии, теперь тоже живем в разных странах. Мы всегда хотели сосуществовать с другими культурами, строить общую жизнь, лучший мир.

Родители говорили друг с другом в основном на идише или по-польски, с нами — на идише, а иногда по-польски. У нас в доме была прислуга, украинка, так с ней мы разговаривали по-украински, а иногда немножко и на идише. Она была частью нашей семьи, я очень ее любил. Она готовила еврейско-украинско-польские блюда. Когда я сейчас приезжаю в Польшу, то слышу те же запахи: бульон, фасолевый суп, борщ... Я-то всегда думал, что это наши, еврейские запахи, вкус наших блюд, а выходит — все было общее.

В Польше бок о бок жили евреи, украинцы, немцы, литовцы, белорусы... Многонациональная культура. Очень было интересно.

— Пилсудский говаривал, что Польша — как баранка: лучшие всего с краешку. Там как раз и была эта этническая смесь... Пограничья культур всегда дают сильнейший творческий импульс.

— И встречи культур тоже. Польская литература, Мицкевич, Тувим... Антисемиты ищут у них еврейские черты. Даже антисемитам нужны евреи — чтоб было кого ненавидеть.

Великая сила католической Церкви на польской земле, католичество — и евреям... Во всем мире не было другого такого места. Поляки-католики, авангард католичества в мире, бастион христианства — а рядом евреи. Трагическая встреча евреев с Иисусом две тысячи лет назад, тот взрыв, та ужасная травма — на польской земле все это длилось непрерывно. Ежедневная встреча с евреями. Так случилось, что после войны на польской земле уже почти нет украинцев, ведь восточные окраины — теперь часть Украины, и почти нет немцев, потому что их прогнали из Силезии, когда ее получила Польша. Евреев истребили немцы, а кто уцелел, уехал; немногие оставшиеся были из-



гнаны в 1968 году. Должно быть, это ужасно скучно! Монолитное государство...

— *Монолитная культура, мечта довоенных национал-демократов.*

— Нет! Культура не монолитна, потому что все, что в ней было, из чего она состояла, в ней по-прежнему есть. Глядя на современную Польшу, я часто возвращаюсь мыслями в те довоенные бориславские времена. Но за добрыми воспоминаниями следуют ужасные — о том, как мы скрывались.

— *Ты не раз говорил в интервью, что вас прятали три семьи. Две польские и одна украинская. Кем была та украшника?*

— Ее звали Юлия Лясота, она была нашей соседкой и в оккупацию торговала в лавке. Пани Лясота всегда была с нами, обо всем заботилась: как все устроить, куда нас в очередной раз перепрятать. Мы были на ее попечении почти три года.

Сначала, во время первого погрома, мы прятались три или четыре ночи у нее, потом у пани Гураль и у пани Потенжной, а потом переселились в новое убежище, которое оборудовал мой отец. Между стеной нашей лавки, за шкафами, и стеной склада он устроил тайник, шириной сантиметров шестьдесят, не больше, зато очень высокий, до самого потолка. Там мы и спрятались. Было нас девять человек: родители, сестра, брат, я, мамина сестра с мужем и сыном и наш сосед Бахман. Мой дядя не выдержал заточения и однажды ночью, через два месяца, просто ушел — оставив жену и сына. Думал, что спрячется где-нибудь еще, а может, просто жить ему не хотелось? Не знаю. Его убили немцы.

— *Как вы там жили, в этом убежище?*

Это кажется невероятным — в девятером в такой тесной щели.

— Отец хорошо все продумал. Прежде всего он построил нары, в несколько ярусов, до потолка. Мы целыми днями лежали. Пани Лясоту мы попросили, чтоб она поселилась в нашем доме; она готовила еду и передавала нам через потайную дверцу — с виду это был шкафчик, дверца открывалась — и там был вход в наше укрытие.

Много лет спустя, когда я был в Голландии, в доме Анны Франк, я узнал, что ее отцу пришла в голову та же мысль — сделать двойную стену. Буквально — тот же патент! Но Анна не выжила, а нам удалось. Прежде всего благодаря пани Лясоте. Она давала нам хлеб, иногда немного супа, чаю, картошки. Но мы же говорим об обычной, повседневной человеческой жизни; так больше всего проблем было с нечистотами. У нас было ведро, и Тадек Потенжный, сын нашей в горой соседки, раз в

три дня выносил это ведро и ополаскивал в реке. С его стороны это была настоящая самоотверженность и героизм! Приходилось это делать до рассвета, чтоб никто не видел: немцы бы сразу догадались.

— *И долго вы жили в этой двойной стене?*

— Семь-восемь месяцев. Немцы все это время искали евреев, хватали и увозили. А сын пани Лясоты был украинским жандармом, служил у немцев. Он ничего не знал о нас, но прятаться дальше в доме, где он жил, было опасно. И вот как-то ночью мы перебрались в соседний дом, в глухой подвал. Этот дом строил мой дедушка Ицик, до войны там был детский сад. В подвале было три помещения: в одном — прачечная, в другом — склад, а третье, дальше, было почти незаметно. Вход в него, крошечную дверцу, загородили огромным чаном. Никто, кроме пани Лясоты, пани Потенжной и ее сына Тадека, не знал, что мы там.

Через маленькое окошко этого подвала я в последний раз видел Беллу.

— *Кто это — Белла?*

— Когда мне было пять лет, я ходил в детский сад. Там были польские, еврейские и украинские дети. И была у меня подруга Белла. Красавица — черные косы, большие карие глаза, а когда она улыбалась, на щеках у нее появлялись такие милые ямочки. Это была моя первая любовь. Я очень любил ходить в сад и играть с Беллой. И она меня любила. Жила она недалеко от нас. Но когда грянула немецко-русская война, все изменилось.

Дом стоял у дороги, ведущей к лесу. По этой дороге гестаповцы на грузовиках возили евреев в Трускавец и там расстреливали. И вот однажды в третьем или четвертом грузовике, проезжавшем мимо — буквально в нескольких метрах от меня, — я увидел Беллу. Я знал: окликнуть ее нельзя. Минут через двадцать послышались выстрелы...

Во время оккупации детский сад по-прежнему функционировал. Но еврейских детей там уже не было, остались только польские и украинские. Они играли, плясали у нас над головами, пели песни, я слышал их каждый день, двадцать один месяц. И каждую ночь мне снилась Белла.

Когда моя дочь Ифат была маленькой девочкой, Белла ко мне вернулась — Ифат стала моей Беллой. А теперь ею стала моя внучка Шира. И я знаю, что до последней минуты буду вспоминать глаза Беллы, которую везли на смерть.

— *Как вы там существовали?*

— В подвале можно было даже готовить — отец приспособил маленький примус: на нем раз в день мы готовили суп из одной картофелины. Воды



хватало, она стекала по стенам, мы собирали ее тряпками, выжимали, потом кипятили и пили. Если все из одной тарелки, сначала дети, потом взрослые, а в конце, всегда последней, ела моя любимая мама.

Пани Лясота работала в лавке, она давала хлебные карточки Тадеку Потенжному, а он приносил хлеб нам. Бросал его в окошко, иногда заворачивал в обрывок газеты. Так нам удавалось узнать, что происходит на свете, какая ситуация.

После смерти мамы я нашел потрясающий документ тех лет — письмо отца к пани Лясоте. Я помнил, что отец часто передавал ей какие-то записки, но не знал, что одна из них сохранилась. Смотри — она была сложена вчетверо, на одной из четвертушек текст разобрать невозможно. Прочти, что писал отец.

«Дорогая пани Лясота!!!

Признаюсь, когда я берусь Вам писать, мне тяжело. Каждый день записки, похожие одна на другую. Знаю, они Вам уже надоели, но что делать, если бы мы получили свой паек, а потребности наши Вам, дорогая пани, известны, я бы вам целыми неделями не надоедал, а главная наша нужда — 10-12 буханок хлеба, 40 кг картофеля и 4 л бензина...»

Этого нам хватило бы на два-три месяца, нас там было восемь человек.

— Дальше не разобрать, текст совсем стерся, еле угадываются отдельные слова: «мелочи»... «нуждаемся»... И далее...

— «...срочно. 10-12 буханок, 40 кг картофеля в неделю. Сообщаю, что хлеба нам хватит до понедельника, топлива до 20 числа, и очень прошу послать сегодня хоть немного цавеля, картошки и сигарет! Хотел я отучиться, но, дорогая пани, что-то не выходит. Кончаю и еще раз умоляю Вас снабдить нас так, чтоб было и Вам, и нам хорошо, а за труды Господь Бог наградит Вас и уберезит от всех напастей (взрыв газа под кухней!). После войны, если мы выживем, я Вас за все сто крат отблагодарю. Привет и поцелуй Вам, пану Роману. Вашим детям...»

— И еще — внизу, в углу: «Слечь». Навероятно, что эта записка не была сожжена (видно, пани Лясота передала ее твоей маме после войны), что она пережила столько километров и столько лет после Борислава.

— Это документ, я передам его в музей «Яд-Вашем». Ты знаешь, много лет спустя я нашел в том подвале старый карандаш. Может, им-то отец и писал это письмо?

Днем, когда дети наверху играли и шумели, мы могли даже потихоньку разговаривать. Сквозь

крошечное оконце, вроде щели, проникало немного света, можно было читать книги. Отец всегда много читал, и когда нас выселяли в гетто, а потом мы перебирались из убежища в убежище, книги составляли немалую часть наших пожитков. Там были энциклопедии, атласы, несколько романов. Я, наверно, раз десять прочитал тогда «Графа Монтекристо». Отец много нам рассказывал, он очень много знал и старался передать эти знания нам — мне и моему двоюродному брату. Мы слушали его, раскрыв рот. Еще долгие годы я пользовался тем, что узнал от него тогда, в подвале.

Хуже всего было ночью. Холодно, сыро, ужасно. Отец заболел туберкулезом, страшно хрипел и кашлял, и мы все по очереди дежурили по ночам, будили его — чтоб никто не услышал, как он кашляет и хрипит. Любой шум мог обречь нас на смерть. Помню одну страшную ночь. Кто-то из жителей Борислава, из наших соседей, подошел к выходу из подвала и стал нас шантажировать. Он был в маске — на голове у него был чулок, отец не видел лица, только слышал голос: это был кто-то из молодых. Он требовал денег — иначе, грозил он, убью. Я помню, как отец взял в руки нож, наш единственный нож, и ответил, что он сам его убьет. Человек ушел. Может, испугался? Не знаю. Отец до конца жизни вспоминал этот эпизод.

Еду нам приносили Потенжные, пани Лясоте приходилось быть вдвойне осторожной, чтоб сын не догадался. Этот Юзек был украинским жандармом. По ночам пани Лясота приходила к пани Потенжной, и они вместе отчищали кровь с его мундира. Все эти месяцы. А после войны, когда пришли русские, уже сын пани Лясоты схоронился в том самом подвале, откуда мы незадолго до того вышли. И я носил ему еду, ведь я был маленьким еврейским мальчиком, никто меня ни в чем не подозревал.

Когда я носил ему еду, я, с одной стороны, ненавидел его, ведь он был извергом, убивал людей и должен быть наказан. С другой стороны, он был сыном женщины, которая спасла жизнь мне и моим близким. И это победило, я знал, что не могу его выдать, потому что его мать нас спасла.

Когда мы вышли из подвала, Бахман, который прятался вместе с нами, узнал, что его жена и две дочери погибли. Он жил потом недалеко от нас, моя мамочка готовила ему еду, а я носил ее в судках. Однажды я застал его повесившимся. Он тоже жертва Катастрофы, хотя и пережил войну.

Мы знаем, что очень многие, спасшиеся от Катастрофы, умирали раньше: они были больны, психически не могли оправиться после тех кошмаров.



Но есть и такие, кто вроде бы неплохо себя чувствует, — они веселы, энергичны, активны, но, когда наступает ночь, не могут уснуть. А если и уснут, то в каждом сне возвращаются туда.

— *Это легко читать: «скрывался три года». Но восемь месяцев в двойной стене, а потом 21 в подвале — все это складывалось из сотен дней и ночей. В шоле 1941 г., когда началась гитлеровская оккупация, тебе было шесть лет. В августе 44-го — уже девять. Три года в этом возрасте — третья часть жизни! Ты спрашивал родителей, почему вам приходится там сидеть?*

— Когда мы попали в подвал, я уже все понимал. Вопросы я задавал в гетто, а потом — в той двойной стене. Однажды ночью мне страшно захотелось чего-нибудь сладкого. Я сказал маме, что, если она не даст мне конфету, я закричу. И тогда отец спокойно сказал: «Если закричишь, я тебя задушу». В одну секунду я понял все. Уже никогда больше я не был ребенком. Это был самый важный, самый драматичный урок.

— *Ты помнишь день, когда вы вышли из подвала?*

— До этого мы уже несколько дней слышали, как приближается фронт. Слышали странные выстрелы, словно очередями — по восемь, по девять. Это были «катюши». Через много лет, когда моя дочь Ифат была в армии, в кибуце на границе с Ливаном, и там стреляли «катюши», я думал: как страшно и странно — те «катюши», что спасли нас в Бориславе, могут теперь в Израиле убить мою дочь.

Мы видели из подвала, как маршируют немецкие войска. Немцы тянули вдоль дороги телефонный кабель — основательно, крепили на столбах. Знали, что русские скоро их оттуда выкурят, но работали как следует, на совесть! Проклятый немецкий порядок! Потом, ночью, немцы подожгли мост через реку. Они отступали. Мы боялись, как бы не занялся наш дом, было недалеко. Ну и 6 или 7 августа мы всю ночь не спали, а утром через щель в стене нашего подвала увидели русских. Один подошел так близко, что я мог руку протянуть и его коснуться. Но мы сидели тихохонько. Я ужасно боялся.

После обеда мы решились выйти из своего глухого подвала — в следующий отсек. И там повстречались с соседями. Они смотрели на нас, как на призраков! Должно быть, жутко мы выглядели! Отец исхудавший, с длинной бородой, у нас, детей, длиннющие лохмы. Все мы были грязные, завшивленные, истощенные, ободранные. Мы сели в

углу — идти дальше не было сил. Боялись, что нас убьют. Боялись, что фронт может откатиться назад, вернуться немцы — и что тогда? Но в конце концов отважились выйти. Тогда я в первый раз встал на ноги, в подвале-то мы передвигались на четвереньках, так мало было там места.

— *Это был солнечный день?*

— Да, прекрасный, солнечный летний день. Мы вышли к дороге, по которой шли войска — сотни солдат, танки, орудия, машины. И подъехал грузовик, который вез полевую кухню. Он остановился возле нас, из кабины выпрыгнул русский майор, подошел и спросил отца: «Амху?» Это слово на идиш означает «наш народ» — такой сигнал, чтоб отличать своих. Отец подтвердил, майор взял меня на одну руку, моего двоюродного брата — на другую, прижал нас к себе. И приказал солдатам, чтобы всем нам дали супа.

Потом пришла пани Лясота, забрала нас к себе домой (ее дом был в двадцати метрах от детского сада) и приготовила нам горячую ванну. Скребла нас, скребла, подстригла нам волосы — вшей была пропасть! А потом вычесывала гнид. Я до сих пор помню ту горячую воду — это был рай! Потом она уложила нас в постель.

На следующую ночь прошел слух, что фронт возвращается, снова придут немцы. Мы не знали, что делать — в нашем подвале уже сидел Юзек, сын пани Лясоты — так что, нам вместе с ним прятаться? Соседей мы тоже боялись, но, к счастью, все оказалось только слухами, и началась нормальная жизнь.

Мы поселились в своем доме вместе с пани Лясотой, у нее была комната с отдельным входом, она жила там вместе со своим мужем Романом. Мы очень ее любили.

В Бориславе открыли школу, и в сентябре я пошел во второй класс. А каждое воскресенье на главной площади казнили фашистских приспешников. Их публично вешали. И мы с моим двоюродным братом Шмилом ходили смотреть! Теперь я видеть не могу, как человека бьют, а тогда, ребенком, смотрел, как вешают! Смотрел, потому что после того, что я пережил, во мне жила жажда мести. Но ходил я туда только три раза. Больше не мог, сил не было.

Мы ждали, когда война кончится. Выходили газеты, мы прочли в них о Треблинке, а потом, в январе, — об Освенциме. Мы видели страшные снимки. Помню фотографии крематория в какой-то русской газете.

Люди стали возвращаться. Вернулся мамин брат Шая — он был в лесу, а его жену и троих



детей убили немцы. Потом приехал второй брат, Иосиф, с сыном — они были в Маутхаузене, его жену и остальных четверых детей убили немцы во время четвертого погрома. Третий брат был в России — он тоже вернулся. Потом вернулась жена двоюродного брата — капитан Красной Армии! Но мы знали, что деда и бабушки нет в живых. Дедушку Ицка убили во время третьего погрома. Он пережил смерть любимой жены, бабушки Минчи, которая умерла от разрыва сердца во время первого погрома — ее еще успели похоронить по еврейскому обряду. Отец нашего отца, дедушка Гирш, который до войны водил меня гулять по нашему кварталу, брал на пикники, был убит во время четвертого погрома. Тетя Роза, сестра моего отца, была убита при ликвидации гетто в Бориславе.

В лесах вокруг Борислава и Трускавца — братские могилы тысяч убитых евреев. Там похоронены мои дед и бабушка, их дети и внуки. Их заставляли копать себе могилы, а потом расстреляли.

Я не могу этого забыть и часто пытаюсь представить, как сложилась бы наша жизнь, если бы все они остались в живых. И память об этом передаю новым поколениям, живущим в Израиле. В день памяти Катастрофы я, как председатель Кнессета, из года в год встречался с молодежью. Да и теперь часто рассказываю молодым израильтянам о том, что творилось во время войны здесь, в Польше. Говорю им о тех, кто был убит. Это осталось со мной навсегда.

— Твои близкие уцелели — мама, отец, брат, сестра.

— Таких семей почти нет. Мы выжили благодаря пани Лясоте. И благодаря Потенжным. Я уже рассказывал, как пани Потенжная прятала нас в своем доме, под кроватью, как принесла мне молоко. Потом она прятала нас в постелях, под стегаными одеялами, которые шила когда-то моя бабушка Минча. А когда мы прятались в подвале под детским садом, она взяла на себя все вопросы нашего быта. Для нее это было просто и естественно, потом я узнал, что она помогала и другим евреям. Я был счастлив, когда 5 июня 2001 г. вручал медаль «Праведный среди народов мира» ее сыну, Тадеку Потенжному.

Война кончилась, мы стали ждать отъезда в Польшу. Каждую ночь я дежурил на станции, чтоб не пропустить поезд, куда семья могла бы погрузиться. Все поляки уезжали, мы тоже хотели. Уез-

жая, родители переоформили дом на пани Лясоту, она жила там до конца своих дней.

В 1987 г. я издал в Израиле свою первую, отчасти автобиографическую книгу (все остальные мои книги, а их слишком, слишком много, — о политике) — она называлась «Мессия не пришел».

— Откуда такое название?

— В конце 1941 г., когда в Бориславе лютовали немцы, жгли молельни, грабили еврейское имущество, убивали, кто-то сказал, что теперь придет Мессия. Ведь евреи всегда ждут его пришествия. Но в те страшные дни все, а в Бориславе жило тогда 14 тысяч евреев, все хотели верить в чудесное спасение. Это была единственная надежда народа, обреченного на смерть. На это уповал и я, шестилетний, парализованный страхом ребенок. Всю ночь перед праздником Йом-Кипур мы стояли у окна нашего дома на Дольной Волянке: мама, папа, дедушка Ицик, моя сестра и брат, — смотрели в небо и ждали, что с Карпат сойдет Мессия. Мы глубоко верили, что он придет в эту ночь, проберется в город между хребтами гор, между нефтяными скважинами и спасет нас. Ждали, что придет Создатель, зажжет зарю спасения. И настал рассвет, но Мессия не спешил. Это был Йом-Кипур, все евреи отправились в синагоги, чтобы, как велит религия, шестикратно прочесть покаянную молитву. Слова молитвы: «Верю всем существом своим в пришествие Мессии, и хотя он долго медлит, жду его каждый день», — обрели тогда особый смысл. Проходили часы, все ждали Мессию, ждали что будут спасены, что грехи, искупленные страданием, будут отпущены бориславским евреям. Но настал вечер, закрылись двери синагог, зашло солнце, над вершинами дубов показались первые звезды, закрылись врата небесные, а Мессия не пришел.

На рассвете следующего дня улочки Борислава вновь заполнились убийцами.

— Ты и твоя семья пережили то страшное время.

— В последних словах этой книги я пишу, что если когда-нибудь у меня будет возможность поехать в Борислав, я найду кладбище, где похоронена пани Лясота, и положу цветы на ее могилу.

*Беседу вела Иоанна Шведовска
(Фрагмент книги-интервью
с послом Израиля в Польше
Шевахом Вейсом,
выпущенной издательством
ПОГРАНИЧЬЕ в г. Сейны
2002 г.)*



Анджей де Лазари

ПОЛЬСКАЯ ПУТАНИЦА С «РУССКИМ» И «РОССИЙСКИМ»

...и русская путаница с тем же самым

Анджей де Лазари в своей статье, напечатанной по-польски в варшавском еженедельнике «Политика» (2002, №40), начинает с постановки вопросов, которые издавна мучат не только переводчиков с русского на польский, но и переводчиков с польского на русский. Каждый раз, когда мне попадает в польском тексте слово «rosyjski», я должна хорошенько поднапрячься, чтобы интуитивно понять: что здесь имеется в виду — «российский» или «русский»? Современный польский язык, как, впрочем, и все известные мне западные языки, разницы тут не делает, в нем только одно прилагательное. Предлагаемое (боюсь, иронически) Анджеем де Лазари прилагательное «ruski» в польском языке обычно относится к языку Великого княжества Литовского, старобелорусскому (ближе к древнерусскому, чем к современному русскому или белорусскому). А уж «rusek» — это почти «кацап».

Таким образом, перед поляками встают довольно трудные проблемы, но, как показывает в статье Анджеем де Лазари, перед нами — тоже. Мы и сами, оказывается, не всегда можем разобраться, что «российское», а что «русское».

В заключение объясню еще один мимолетно затронутый автором момент, тоже хорошо известный переводчикам (без этого объяснения кое-что в статье останется русскому читателю непонятным): понятия «narodowy» и «ludowy» не полностью совпадают с русскими «национальный» и «народный» (да еще вдобавок с распространившимся по западному образцу слову «национальный» в названиях хотя бы оркестров вместо «государственный», о чем тоже упоминает автор). «Ludowy» — это скорее «простонародный», в названиях партий без обиняков «крестьянский». «Narodowy» — «национальный» в широком смысле (на русский может переводиться и как «народный» в том же широком смысле), но с тех пор, как это прилагательное больше века назад стало появляться в названиях откровенно националистических польских партий, само оно приобрело несколько экстремистский оттенок.

Н. Горбаневская

Мы более или менее успешно отличали советское от русского, теперь у нас трудности с правильным употреблением определений «русский» и «российский» на польском языке. Впрочем, трудности возникли и у самих россиян.

Некогда существовало себе советское государство, а в нем среди прочих жили русские — с русской культурой, языком и т. п. (не было у них разве что собственной русской компартии). Были советские конституции и институты, был даже советский народ и советский человек. Правда, появлялись непередаваемые на другой язык обороты типа «многонациональное общенародное государство советского народа», были у нас сложности с переводом почетного звания «народный артист Советского Союза» («narodowy» пахнул нацизмом/коммунизмом, «ludowy» — фольклором; Шостакович — «ludowy артист» звучало абсурдно), однако различение советского и русского не доставляло серьезных языковых неприятностей. Теперь мы растерялись и не в состоянии найти польские эквиваленты, которые различали бы понятия «русский» и «российский».

На первый взгляд, все как будто просто: Россия — многонациональное государство, и слово «российский» определяет эту многонациональную государственность (россиянин — это любой гражданин Российской Федерации, независимо от своей национальности). Слово же «русский» определяет принадлежность к культуре собственно русской. Русский вместе с чукчей, евреем и поляком, если они граждане Российской Федерации, суть россияне. Государство — российское, язык, разумеется, — русский.

Наверняка мы бы справились с этой сложностью и на польском языке, возродив для современности и подняв в их стилистическом статусе слова «Русь», «ruski», а может быть, и «rusek». Государство по-польски было бы «rosyjskie», язык «ruski» (украинский и белорусский по соображениям политкорректности не были бы «ruskimi» языками), пельменям и вареникам (которые по-польски называются «pierogi ruskie». — *Ред.*) имя можно было бы не менять. Так было бы можно — если бы россияне (то есть — граждане Российской Федерации) сами справились с нареканьем имен.

Размытая русскость

Церковь — русская, однако епископы — российские; общество — российское; российские также католики и инженеры, но мафия и эмиграция — русская; российские — Академия искусств, Фонд культуры, энциклопедия. Даже основанная в Китае 18 июня 1700 г. православная миссия оказывается россий-



ской, хотя Александр Солженицын, выступая в защиту русскости против размытой российскости, пишет, что русско-российская проблема возникла еще в 1909 г. среди либеральной интеллигенции, теряющей русскую самобытность во имя российской многонациональности («Россия в обвале»).

Однако поистине неразрешимая сложность возникает тогда, когда русские-россияне начинают говорить о народе. Так, Александр Зиновьев (автор известного «Гомо советикуса») в одном из интервью сказал, что народы, как и люди, рождаются, созревают, деградируют и умирают, что это аксиома и что «российский народ» находится ныне в стадии деградации, близкой к смерти. У логика Зиновьева мышление несомненно точное, однако он не уточняет, когда же возник российский народ. До сих пор мы много знали о народе русском и кое-что о советском. Российский народ фактически возник на месте народа советского. Значит, он находится в весьма юном возрасте — и уже успел выродиться? Это невозможно: ведь только в 1990 г. создан первый симфонический Российский национальный оркестр. Он пользуется небывалым успехом в мире и даже не думает умирать. Другое дело — в каком смысле он национальный, если российский, а не русский? Государственный, национализированный? Конечно, да. Но с другой стороны, многие университеты — российские и государственные: значит, «российский» и «государственный» — не одно и то же.

Еще более запутанным примером может быть заголовок на страницах «Полит.ру»: «Российский народ — не дикое племя: Советские художники спасают Святую Русь от католиков». Заголовок издательский: редакция посмеялась над группой художников, которые выступили с протестом против «вторжения католицизма» в Россию. Довод протестующих: если «российский народ — не дикое племя», то уже само присутствие католиков в России унижает ее культуру. Выше я легкомысленно написал, что россиянином является любой гражданин России, а тут оказывается, что любой — но при условии, что он православный. Ибо что же это за народ, если он не объединяется религией?

Граждане с разных сторон

Что же такое российский народ?

Конституция Российской Федерации начинается словами: «Мы — многонациональный народ Российской Федерации»; по-английски: «We, the multinational people of the Russian Federation»; по-немецки: «Wir, das multinationale Volk der Russischen Fдederation»; по-французски: «Nous, peuple multinational de la Fййdйration de Russie». А как же сказать это по-польски? «My — wielonarodowy lud/naród»?

В конституции Польской Республики дело выглядит прозрачнее: «Мы, польский народ, — все граждане Речи Посполитой». То же самое подразумевается в конституции многонациональных Соединенных Штатов Америки: «We the People of the United States»; в индийской конституции: «We, the People of India»; в японской: «We, the Japanese people» и т.д. Зачем россиянам «многонациональный народ»? Народ — важная категория для россиян: чтобы государство не разлетелось, в нем должен существовать единый народ — российский. Я это понимаю, но перевести на польский не умею.

Вернемся, однако, к музыке. Кроме Российского национального оркестра (напомню, что он симфонический), в России играют среди прочих русские народные оркестры: Русский государственный концертный народный оркестр «Виртуозы Кубани» и мой любимый Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П.Осипова. Еще недавно этот оркестр именовался «Государственный академический русский народный оркестр». В «Стране Советов» создавалось единое государство = единый народ, что отразилось, среди прочего, в единстве государственности, академичности, русскости и народности. После распада СССР кто-то заметил неловкость в названии известнейшего балалаечно-домрового оркестра и название изменил — на не менее странное (на Западе оркестр этот выступает просто как Osipov Orchestra, чтобы кто-нибудь не увяз во всех этих прилагательных).

Надменные великороссы

Гораздо удачнее сменил название Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» — на «Алтайский государственный великорусский оркестр». И так держать! Василий Андреев, создавая в конце XIX века первый балалаечно-домровый оркестр, назвал его Великорусским оркестром — и в голову ему не пришла какая бы то ни было «народность»: он думал только о русскости, точнее — великорусскости (есть ведь еще малороссийскость и белорусскость).

Чтобы исчерпать музыкальную тему, напомню, что в Курске с 1989 г. играет Христианский оркестр русских народных инструментов «Гармония», — не могу, однако, сказать, в чем состоит его христианскость (может быть, туда не берут атеистов, а вместе с православными играют там католики и протестанты, ибо в названии содержится экumenическая аллюзия?).

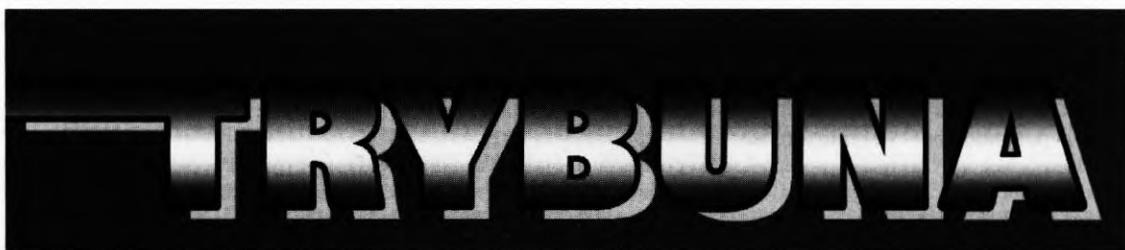
Как же нам, полякам, справиться в политике и в жизни с понятиями «русский» и «российский»? Оставляю ответить польским языковедам, поскольку сам я играю только на балалайке¹.

¹ Это не шутка, автор — член «Balalaika and Domra Association of America» (прим. ред. «Политики»).



Кшиштоф Бурнетко

ЛЕВАЯ «ТРИБУНА»



Больше 40 лет эта газета называлась «Трибуна люду» («Трибуна народа»), выходила под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и была официальным органом правящей коммунистической партии (ПОРП). В СССР ее родной сестрой была «Правда», в ЧССР — «Руде право», в ГДР — «Нойес Дойчланд». Сейчас вид у нее такой же сермяжный, как и прежде, но называется она просто «Трибуна», выходит без лозунга и, как уверяет редакция, не является ничьим органом — разве что может ассоциироваться с преемником ПОРП, «Союзом демократический левых сил» (который теперь как раз у власти). Однако в «Трибуне» все еще чувствуется дух былых времен.

Когда после исторического перелома 1989 г. «Трибуна люду» превратилась в «Трибуну», редакция писала: «Мы начинаем выходить под новым названием, но не собираемся притворяться, будто намерены строить все заново. Мы хотим создать новую формулу трибуны левых сил». Редакция обещала порвать с прежней линией, но сохранила за собой право «преемственности» — не уточняя, правда, в чем она будет заключаться. Впрочем, вскоре все стало ясно.

Как заметил Сергиуш Ковальский, социолог из Института политических исследований ПАН, до сих пор вся история «Трибуны» представляла собой «диалектическую напряженность между желанием перечеркнуть прошлое и необходимостью его переосмысления, которое могло бы придать смысл жизненному пути» газеты.

Начнем с того, что «Трибуна» считает себя газетой социал-демократической. Ее журналисты протестуют, когда их называют политическими или духовными наследниками ПНР, а слово «посткоммунисты» приводит их в бешенство. Именно в «Трибуне» один из ведущих публицистов посткоммунистических левых Кшиштоф Теодор Теплиц объяснял: «Сейчас выражение «посткоммунизм» используется в качестве уничижительного эпитета, однако в действительности оно означает лишь нечто существующее «после коммунизма». В этом смысле «посткоммунистическими» можно назвать и Валенсу, и епископов, и вообще всех, кто жил и работал в период коммунизма, а теперь работает после его падения». «Трибуна» выступает за демократию (хотя, быть может, частично этот энтузиазм связан с тем, что СДЛС — самая сильная польская партия). В целом она выступает и за свободный рынок, и за современность, и за членство Польши в НАТО и вступление в Евросоюз (более того, ее публицисты неоднократно с удовольствием писали о том, что по своим взглядам и политическим манерам польские социал-демократы значительно ближе к Европе, чем многие отечественные правые). Однако во всем этом есть одно характерное «но».

Возьмем, к примеру, прошлое. «Трибуна» не мечтает о возвращении цензуры (наоборот, ее авторы любят подчеркнуть, какое это счастье, когда наконец можно писать все что хочешь) или о всевластии партийных боссов. В то же время ее главному редактору в 1997-2000 гг. Янушу Ролицкому ничего не стоит заявить: «Я считаю, что пришло время встать с колен и перестать извиняться: за то, что мы родились не вчера; за то, что в разные периоды мы были членами ПОРП, поддерживали ее или не боролись с ней; за то, что мы строили социализм, который должен был стать лучшим общественным строем; за то, что сначала мы отвоевали для Польши границу по Одере и Нысе-Лужицкой, а затем добились международного признания этой границы; за то, что в крайне невыгодной геополитической ситуации мы восстановили Польшу, самую разрушенную страну в Европе, а затем подняли наше отечество из цивилизационной, культурной и образовательной разрухи». По сути дела это призыв к читателям не обращать внимания на те истолкования истории, в которых критикуется коммунистическая Польша.



Одна из постоянных тем «Трибуны» — оправдание коммунистических властей и партии. Например, стрельбу по бастующим рабочим в 1970 г. она объясняет желанием и даже обязанностью правительства поддержать порядок. В свою очередь при введении военного положения и подавлении «Солидарности» в 1981 г. решающее значение имели «польские государственные интересы», т.е. угроза советского вторжения. Однако «Трибуна» упоминает (почти слово в слово переписывая пропагандистские лозунги того времени) и об анархии в независимом профсоюзе, и о нелегальных забастовках, затрагивавших основы существования «простого человека», и, наконец, об опасности «суровой зимы с двадцатиградусными морозами в ситуации, когда угля в теплоэлектроцентралях хватало только на два дня» — опасность эта грозила полякам по вине «Солидарности», но, к счастью, была предотвращена благодаря вмешательству генерала Ярузельского.

Более того, авторы «Трибуны» любят сравнивать ситуацию в ПНР с довоенной Польшей и даже с западными странами после 1945 г. При этом они пытаются доказать — хотя бы на примере репрессий по отношению к политическим противникам, — что при коммунизме было вовсе не так уж плохо (вот один из аргументов: а сколько людей убила французская полиция в 60-е?).

«Трибуна» предлагает и другую историсофскую концепцию: она пытается убедить своих читателей, что в свержении старого строя и обретении Польшей суверенности немалое участие принимали прихлебатели системы из правящих кругов. «Независимость — пишет Ролицкий — это заслуга не только «Солидарности». Это дело рук всех послевоенных поколений. Среди людей, которым мы обязаны нынешней суверенностью Польши, есть люди Церкви, оппозиции и партии». Возможно, этот тезис и был бы истинным или во всяком случае достойным обсуждения, если бы он сопровождался оговоркой, что людей, которые поплатились за эту борьбу тюрьмой или увольнением, надо мерить несколькими иными мерками, нежели тех, кто извлекал выгоду из участия во власти и оказался в лучшем случае более снисходительным правителем, а в конце концов — перед лицом краха системы — мирно расстался с властью в обмен на политическую амнистию. Однако ждать от «Трибуны» таких оговорок бесполезно. Вместо этого она частенько прибегает к совсем другому приему: намекает, что антикоммунистической оппозицией тоже, возможно, управляли власти и уж наверняка она существовала благодаря их терпимости. Такой маневр имеет лишь одну цель: внушить читателю, что по сути дела все одинаково «сидели по уши» в старой системе.

Такой же механизм «Трибуна» применяет в текущей политической полемике и текстах, посвященных положению в свободной Польше. Например, описание неизбежных трудностей, связанных с беспрецедентными экономическими и политическими реформами, случаев некомпетентности или глупости новых правительств, различных афер и злоупотреблений, как правило, снабжается высказанным впрямую или завуалированным комментарием-намёком: «Видите? Раньше тоже была бесхозяйственность, номенклатура и групповщина, но теперь эти патологические явления приобрели еще большие размеры и коснулись каждого».

Характерно, что аналогичный социотехнический прием — отличительная черта еще одного издания, ассоциирующегося с посткоммунистическими левыми, — скандального, но влиятельного еженедельника «Не» («Нет»), редактируемого (что тоже немаловажно) партийным пресс-секретарем времен военного положения, символом коммунистической пропаганды Ежи Урбаном. Это он первым начал проповедовать (как правило, не выбирая выражений), что все, в т.ч. и люди, считающиеся крупнейшими авторитетами или героями антикоммунистического сопротивления, запятнаны связями с коммунистической системой, что у всех на совести какие-то грешки, что все податливо на соблазны власти и денег. Что, выражаясь в духе «Не», все без исключения могут скурвиться. Цель таких манипуляций — внушить читателям, что нет сколько-нибудь существенной разницы между прежними и нынешними властями, а тем самым — между ПНР и Третьей Речью Посполитой.

Впрочем, нынешний замредактора «Трибуны» Марек Баранский, прославившийся в 80-е своими пропагандистскими телепередачами, направленными против тогдашней оппозиции и основанными на материалах, которые предоставлялись госбезопасностью, какое-то время тоже работал в «Не». Другой ведущий автор «Трибуны», Петр Гадзиновский, — правая рука Урбана в «Не» (и одновременно депутат Сейма от СДЛС).

«Трибуна» была за вступление Польши в НАТО — по крайней мере с тех пор, как его поддержал СДЛС. Однако когда после сербских «этнических чисток» в Косово НАТО приступило к военным действиям, «Трибуна» возмущалась и сравнивала бомбардировку Белграда с гитлеровскими бомбежками Варшавы. Последние же сообщения о возможности силой заставить режим Саддама Хусейна согласиться на международный контроль его арсеналов она прокомментировала, публикуя в рубрике «Твоя трибуна» письмо от читателя Станислава Втисло из Замости: «Решительно протестую против вовлечения нашей страны в войну с Ираком. Еще никто не восполнил потерь, понесенных нами в предыдущей войне. Кроме того, я не слыхал, чтобы кто-нибудь из сильных мира сего сказал, что миру угрожает Израиль, не выполнивший ни одной резолюции ООН и располагающий оружием массового уничтожения».



В подобном стиле «Трибуне» случалось писать и о стремлении Польши в Евросоюз. Формально она (как и СДЛС) «за»: текст об октябрьском докладе Европейской комиссии, рекомендуящем принять Польшу в ЕС, она даже озаглавила (цитируя Лешека Миллера) «История вершится на наших глазах». Однако в то же самое время она не колеблясь печатала тексты (иногда пользуясь удобной формулой читательских писем), подчеркивающие необходимость сохранения суверенности и независимости от Брюсселя (читай: когда-то мы зависели от Москвы, и ничего хорошего из этого не вышло). В других газетах это, может, и не резало бы глаз, но в бывшей «Трибуне люду» приобретает специфический оттенок. Вдобавок такая риторика характерна в Польше скорее для газет националистического и правого толка. Впрочем, это очередной феномен «Трибуны»: она решительно выдвигает на первый план «национальные», «патриотические» и «польские» темы. Примером может послужить текст, опубликованный в годовщину советской агрессии против Польши 17 сентября 1939 г., написанный таким языком и в таком помпезном стиле, что его не постыдились бы даже самые радикальные националистические публицисты.

Для зигзагов истории «Трибуны» характерны и ее отношения с СДЛС. Во времена ПНР «Трибуна люду» была пропагандистским рупором компартии. После 1989 г. ее владельцем стала фирма «Art Novum», связанная с посткоммунистической номенклатурой, а новая социал-демократическая партия оставила за собой всего лишь право назначения главного редактора — не более и не менее. Этим правом СДЛС пользуется без зазрения совести. Например, когда в конце 90-х «Союз» был в оппозиции и нуждался в остром оружии критики, направленной против правоцентристского правительства Ежи Бузека, он прибег к помощи известного своим левым радикализмом Ролицкого. Правда, под его началом «Трибуна» слишком уж распоясалась: она стала обрушиваться не только на команду Бузека и преемников «Солидарности», но и, к примеру, на католическую Церковь (достаточно вспомнить скандальную статью, в которой Папа Иоанн Павел II был назван «невежественным викарием»). Более того, «Трибуна» начала критиковать (за чрезмерное «соглашательство») президента Александра Квасневского — а ведь он родом из СДЛС!

Однако вследствие допущенных ошибок, некомпетентности и отстаивания партийных интересов в ущерб государственным правительство Бузека начало быстро терять поддержку общества. Стало ясно, что это отразится на результатах выборов и к власти придет оппозиция, т.е. сам СДЛС. В такой ситуации прежняя тактика «Трибуны», состоявшая в подогревании среди читателей — как бы то ни было, самых верных избирателей СДЛС — атмосферы притязаний, могла оказаться самоубийственной: после прихода к власти рано или поздно придет время отчитываться в выполнении данных обещаний. Поэтому лидер СДЛС Лешек Миллер решил изменить линию газеты и начал со смены главного редактора. Ролицкий был изгнан. Его место занял умеренный и положительно оцениваемый даже противниками СДЛС депутат Анджей Урбанчик, который, к сожалению, вскоре умер.

Вообще говоря, судьбы главных редакторов «Трибуны» чрезвычайно любопытны. Например, ее первый редактор Марек Сивец ныне возглавляет Бюро национальной безопасности, а его преемник Дариуш Шимчиха — министр канцелярии президента. Только Ролицкий впал в немилость и приблизился к крайне демагогической партии «Самооборона».

Когда осенью 2001 г. Лешек Миллер действительно возглавил кабинет министров, для «Трибуны», как это ни парадоксально, наступили трудные времена. Раньше, будучи оппозиционной, газета могла давать волю любым самым крайним мнениям и настроениям, иногда даже собственноручно фабрикуя их. Теперь ей необходимо защищать свое правительство. Поэтому публицисты «Трибуны» громко поддерживают даже те его идеи, которые не пользуются особой популярностью, а эксперты признают их спорными или просто опасными. Последние примеры подобных идей: налоговая аболиция (позволяющая легализовать скрытые ранее доходы взамен за уплату всего 12% от их размера; обычный налог составил бы как минимум 19%), введение обязательных имущественных деклараций даже для не слишком зажиточных граждан и концепция введения особой платы за пользование всеми более или менее приличными дорогами.

И все же главная мысль остается прежней. Как пишет в своем анализе Сергиуш Ковальский, тот, кто не знает польских реалий, почитав «Трибуну», по-прежнему не сомневался бы, что в коммунистической Польше шел цивилизационный прогресс, в культуре царил свобода, а спецслужбы были нежны как голубки. При этом страной правили «герои, обеспечившие ей процветание». И лишь власть «Солидарности» принесла Польше цензуру, чистки, показательные процессы и культурно-экономическую разруху.

В середине октября в «Трибуне» произошла революция: издатель уволил... всех журналистов, желая таким образом заставить их согласиться на более низкую зарплату. Говорят, что режим экономии необходим: за последние три года число продаваемых экземпляров сократилось с 80 до 30 тысяч. Газета должна стать более привлекательной. Некоторые предполагают, что суть изменений будет заключаться в более современном графическом оформлении. Другие говорят, что «Трибуна» должна стать более радикальной и более решительно сместиться влево.



Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Одной из тем, занявших ведущее место в польской прозе после 1989 г., стала проблематика «малых родин». Вместе с развивающейся децентрализацией жизни страны, вместе с расцветом провинциальных центров стали возникать романы и рассказы, авторы которых с жаром открывали чувство местного самосознания, выстраивали его заново, переистолковывали историю своих родных мест, часто таких, где, как на принадлежавших до войны к Германии территориях Поморья, Силезии или Вармии и Мазур, поляки пустили еще не слишком глубокие корни. Вопрос взаимоотношений с соседями, прежними и новыми, проблема давних и новейших традиций — все это определяло и определяет направление таких журналов, как вроцлавская «Одра», ольштынская «Боруссия», люблинские «Кресь», щецинские «Погранича», и таких недавно возникших культурных начинаний, как центр «Пограничье» в Сейнах (о котором «Новая Польша» писала неоднократно). Критика уделяла немало внимания прозе «малых родин», которую называют также «коренной прозой», — произведениям таких авторов, как Павел Хюлле и Стефан Хвин из Гданьска, Ольга Токарчук из Новой-Руды (Нижняя Силезия), Артур Даниэль Лисковашский из Щецина, Магдалена Тулли из Варшавы — города, который после войны стал восприниматься совершенно иначе, к чему приложили руку и многие писатели старшего поколения, взять хотя бы Марека Новаковского.

Сейчас эта проблематика возвратилась на страницах последнего номера краковской «Декады литературы» (2002, №7-8). Подборку текстов, озаглавленную «О «малых родинах» по-другому» открывает статья Станислава Пискора «Универсализация локального». Автор, критически оценивая распространившуюся в 90-е годы литературу «малых родин», пишет:

«Концепция «малых родин» приобрела ранг политической доктрины в соответствии с весьма простым рассуждением: если тоталитаризм XX века был порожден возникшей в XIX веке концепцией сильного государства, получившей националистические последствия, а национализм вызвал две мировых войны, то следует стремиться к ослаблению государства, наделяя более высокой ценностью регионы, т.е. выдвигая на первый план „малые родины», чтобы не допустить возникновения в будущем нового национализма. К этому прибавляются обвинения в адрес рационализма, научного мышления и даже обычной логики, ибо все это — якобы истоки сего преступного века. И трудно удивляться, что никто не попытался ответить на самые простые вопросы, хотя бы такой: а что означает понятие сильного государства? Или: а чем отличается сила государства, основанного на соблюдении гражданских прав, свобод и демократии, от силы государства, основанного, например, на прусской палке либо на восточной мистике, на впавшей в рутину византийской иерархичности, идущей из глубины веков от всяческих домостроев, как это было в СССР? (...) Обходили молчанием тот факт, что эти два весьма различных источника породили оба тоталитаризма XX века с их преступными последствиями в массовом масштабе. Тем не менее доктрина «малых родин» стала модой, догмой, поданной как предмет верований и распространения. (...) В пропагандистском пылу деятельности на благо „малых родин» многие забывают, что дремлющий потенциал „малой родины» — этноцентризм, а в экстремальных случаях — мистика земли, которая была важной наживкой фашизма. (...) Заметим также, что кампания за „малые родины» или за «многокультурность» основана на замалчивании политических мотивов, зато характеризуется чертами интеллектуальной моды. А мода, как известно, бездумна, иррациональна». [Отметим все-таки, что оба тоталитаризма были порождены не прусской палкой и не восточной мистикой с «домостроями», а идеологическими доктринами — расовой и классовой, национал-социализмом и марксизмом. Странно, по то, что уже вроде бы всем стало ясно в XX веке, в XXI-м начинают забывать, возвращаясь к старым и, как это ни смешно в данном случае, чисто националистическим предрассудкам. — Ред.]

Пискор предлагает преодолеть опасности, связанные с пробуждением этнических демонов, и избежать политической инструментализации при определении собственной национальной, этнической или местной принадлежности. Это подход, позволяющий сделать локальное универсальным:

«Геокультурная многокультурность — понятие, которое я пытаюсь ввести уже полтора десятка лет. Это не произвольная интеллектуальная конструкция: оно вытекает из общеизвестных культурных интерференций. У нас, в Центральной Европе, встречаются влияния латинской и византийской культур, на Пиренейском полуострове и на Балканах — латинской и мусульманской. В Византии —



персидские и греческие влияния. В России — византийские и татарские. Даже культуры самых крупных стран Западной Европы, таких, как Германия или Франция, привыкших считать себя образцом европеизма, тоже не обошлись без кредиторов, и легко показать, сколько они почерпнули из культуры Римской империи, а сколько — из северных влияний. (...) Разумеется, геокультурная универсализация локального требует более глубокого культурного самосознания, чем красочная дифференциация на этническом уровне, но потому-то она и содержит в себе универсальное, не утрачивая ценности локального хотя бы в силу определенности места. И это, на мой взгляд, альтернатива таким антиномиям, как провинция — Европа, универсализм — «малые родины», антиномиям, которые не способствуют смягчению противоречий и конфликтов надвигающихся времен, а в случае чрезмерной инструментализации могут даже, вопреки благим намерениям, стимулировать конфликты. Урок Югославии должен быть обдуман».

В обширной статье «Малая родина и состояние человека» на своеобразную парадоксальность идеи «малых родин» обращает внимание Владзимеж Мацёнг. По недостатку места ограничусь лишь заключительными предложениями этого текста, где автор обращается к роли бескорыстия в восприятии идеи малой родины:

«В этом смысле идея малой родины может преодолеть все партикулярные ограничения и избавляется от провинциализма и всяческой ксенофобии. (...) Как все идеи, она может претворяться в практику на самых разных уровнях. Царство свободы на наших глазах превращалось в концлагерь. В идее малой родины есть все данные, чтобы привести нас к внутренней скованности. Но она таит в себе и такие элементы, обретение которых дает метод духовного выживания».

Вероятно, можно было бы прибавить, что идея «малой родины», как любая идея, чтобы быть жизнеспособной, должна подвергаться постоянной переоценке, проходить всё новые испытания. Так оно, впрочем, и происходит, на что обращает внимание Габриэля Матушек в статье «Несколько бессвязных мыслей о „малой“ родине»:

«Можно ли сегодня не иметь „малой родины“, своей провинции, мифологического пейзажа, хранящегося под самым веком или приклеенного снаружи глаза, словно искусственные ресницы? Мы предаемся иллюзии, что наша местная принадлежность — это неделимое единство, строя себя при этом на стыке множества разных принадлежностей. Возвращение к провинциальным „малым родинам“ было своего рода знамением 90-х, важным компонентом „исчезновения центра“ и выстраивания авторитета провинции, на протяжении многих лет отброшенной на культурное дно. Вместе со сменой культурной парадигмы появилась постмодернистская региональная литература, и понятия центра и периферии приобрели совершенно новое значение».

Размышляя о том, почему провинция стала притягательной, и не только литературно, Матушек пишет:

«Это вроде того, о чем сказал Паскаль: середина мира везде, а границы — нигде. Ибо миграция происходит во всех возможных направлениях. „Малая родина“ там, где мы назначаем ей место. Быть у себя дома и быть чужим — это не противоположности, а скорее орел и решка одной и той же монеты. Монету можно бросить в произвольно выбранное пространство и вокруг нее очертить малую частную территорию. Освоение пространства бывает одновременно созданием собственной „малой родины“. Бегство на периферию — жест, который имеет значение, это знак того, что ты вслушиваешься в самого себя».

Роберт Осташевский в статье «Местные „корневоды“» вслед за описанием тенденций литературы «малых родин», возникшей в Польше в 90-е годы, задумывается, а нужно ли вообще укоренение:

«Вся литература «малых родин» строится на догматической, то есть не нуждающейся в доказательствах, посылке, согласно которой человек обязан стремиться приобрести прочное локальное самосознание. Почему почти никто не пробует этого оспорить? На первый взгляд может показаться, что тут нечего ломать голову. Очевидным кажется, что локальное самосознание, хорошо укрепленное в почве, обеспечивает познавательный и экзистенциальный уют, позволяет примириться с традициями, поддерживает память. Достаточно приглядеться к нескольким романам, принадлежащим к этому течению, чтобы заметить, что герои, которые еще не пали ниц перед региональными часовенками, — это чаще всего мечущиеся во все стороны клочья человека, зато потом, укоренившись, герои живут в раю надежности и постоянства. Но действительно ли это универсальный рецепт от всего зла прошлого, настоящего и будущего? (...) Обрести себя путем укоренения в „малой родине“ не требует (...) слишком больших усилий. Однако эта «легкость» — в данном случае не единственная трудность. Часто забывают, что существует много образцов осознания своей принадлежности, среди которых мы можем свободно выбирать. Иначе говоря, выбор одного из них равнозначен тому, что отбрасываешь все остальные. Последствия того или иного решения весьма существенны. Самосознание, которое предла-



гают нам певцы «малых родин», основано на непрерывности традиций, многокультурности и культивировании памяти. Но эта память особая — препарированная. На это обратил внимание Униловский [в книге «Колонисты и кочевники», Краков, 2002], констатируя, что „коренная” литература „утаивает, цензурирует то, что ее породило, — исходный опыт потери корней”, который после войны обеспечила всем ПНР. Мы меняем места жительства, профессию, работу, стиль жизни. В такой ситуации достоинством может оказаться как раз отсутствие прочных корней, постоянная готовность встретиться с „новым”».

Ну что ж, не впервые ведется дискуссия о достоинствах и недостатках все еще живучего в новейшей польской литературе понятия «малой родины». То, что это понятие переживает всё новые кризисы и подвергается всё новым переоценкам, подтверждает и его содержательность, и заключенное в нем вдохновение. Действительно, можно спросить, нужно ли мне к чему-то принадлежать. Но стоит и отдать себе отчет в том, что сама постановка этого вопроса лишь переносит его на другой уровень: он по-прежнему остается вопросом о том или ином самосознании. Тот, кто не спрашивает себя: «Кто я?» — не может осознать себя и как личность. Надо быть хоть кем-то, чтобы по выбору стать кем-то другим. Я пишу об этом потому, что уже давно, описывая польскую прозу после 1956 г., Ян Блонский отмечал: «Трудно стать кем-то, когда нужно постоянно бороться за то, чтобы быть хоть кем-то». И хотя эта стадия — борьбы за то, чтобы быть хоть кем-то, — уже осталась позади, мне не кажется, что мы, герои нашей литературы, уже знаем, кто мы.

Другой вопрос, с которым мы сталкиваемся в литературе «малых родин», — это «прописка литературы на земле». Когда словесность рассматривают инструментально, эта «прописка» становится реальной опасностью. Однако в серьезных художественных замыслах — ввиду их художественного и интеллектуального уровня — эта опасность почти ничтожна. Оpozнание корней места, где ты живешь и где раньше жили другие, — дело познавательно плодотворное и спасающее от опасности полной внеисторичности литературы, по-ученому называемой постмодернистской.

К постмодернизму отнюдь не относятся воспоминания профессора Кароля Обуховского из познанского Университета им. Адама Мицкевича, помещенные в специальном номере «провинциального литературного вестника» «Лабузь», выпущенном к десятилетию журнала, который издается в городке Лобез в Западном Поморье (см. статью об этом журнале в «Новой Польше», 2001, №12). Журнал выпускают культурные круги городка, а финансово его поддерживают местные частные фирмы. Редактируется он профессионально, помещает много материалов, относящихся к прежней (немецкой) и современной (польской) истории города, в том числе и литературные тексты. Член редакции журнала Агнешка Весоловская за свой первый сборник стихов, вышедший в прошлом году, удостоена литературной премии им. Казимеры Иллакович.

Польский Лобез создавали после 1945 г. прежде всего переселенцы с бывших польских восточных земель и возвращавшиеся на родину из СССР лагерники и ссыльные. Характеризуя эту среду, Обуховский пишет:

«Быть может, в силу нашего опыта мы рассматривали всякие ограничения, существование ГБ, аресты, доносы, политическую пропаганду как стихийные природные явления. К тому же — о чем тогда говорилось — все это делалось мягче в сравнении с тем, что мы уже знали. Для нас точкой отсчета были радикально иные условия в Советском Союзе, тамошние нравы и жестокость. Может казаться странным, но СССР у нас не ассоциировался ни с какой идеологией. Это был неопишущий ужас, который остался позади и о котором не хотелось даже думать. (...) Реальная политическая власть нашей страны не существовала для нас как какая-то особая сила, дающая о себе знать каждый день. Существовала Польша, где-то там неопределенный „центр”, но прежде всего существовал Лобез и наши шансы жить нормально. Вплоть до 50-х годов мы чувствовали себя ответственными за наш городок, за нашу школу. (...) Чем было для меня пребывание в Лобезе? Оно продолжалось всего четыре года, но каждый раз я с изумлением обнаруживаю, какой это был большой кусок моей жизни. (...) У меня малых родин в избытке: Воложин, и Лобез, и Познань. Я к ним привязан, хотя к каждой — по-другому».

Эти слова, как и само существование «Лабузя», как расширение культурных кругов городка Лобез и их творческая активность, дают довольно полезную точку отсчета всем теоретическим рассуждениям о значении проблематики «малых родин» в современной польской литературе.



Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

■ «Нике», главная польская литературная премия, присуждена в этом году Иоанне Ольчак-Роникер за книгу «В саду памяти». В своем обосновании жюри написало: «Рассказывая о своей семье, Иоанна Ольчак-Роникер создала неповторимый документальный большой роман. Она воскресила заброшенный литературный жанр. Творческие усилия автора сосредоточены на том, чтобы найти отдельные нити генеалогии и сплести их в родовое целое. Этот труд был предпринят наперекор Катастрофе.



(...) Автор отыскивает свои семейные корни, являет нам целую династию творческих женщин, показывает множество противоречивых источников интеллектуального вдохновения, одушевляющих, например, первого всемирно прославившегося польского психоаналитика Густава Быховского и деятеля компартии Максимилиана Горвица, павшего жертвой сталинских репрессий (...) Она впечатляюще показывает драму ассимиляции еврейской интеллигенции — той интеллигенции, которую столько раз отвергали или недооценивали»



■ Читатели «Газеты выборчей» уже в третий раз отдали первое место в своем литературном плебисците Ольге Токарчук — на этот раз за сборник рассказов «Игра на многих барабанах». Один критик-любитель написал в Интернете: «Если ты потерял себя, эхо барабана может помочь тебе найтись».

■ Тадеушу Ружевичу присуждена литературная премия Боснии и Герцеговины. Делегация боснийских литераторов приехала во Вроцлав, чтобы вручить польскому поэту символ премии — «Босанский стечак» («Боснийский камень»), обелиск из обтесанного песчаника с барельефами, изображающими национальные символы, такой, какие традиционно ставят босняки на могилах. «Камень символизирует Боснию, у нас мимо него нельзя пройти равнодушно, как нельзя пройти мимо поэзии пана Тадеуша», — сказала при вручении Марта Трумич. Отвечая, лауреат сказал: «Я любил Югославию времен моей молодости, все республики: Боснию и Герцеговину,



Хорватию, Сербию и Словению. Они принимали поляков как братьев, а не как туристов. От всего сердца желаю им, чтобы — наверное, уже не при моей жизни — они создали братский союз всех республик. Быть может, это утопия, но я верю, что народы цементируют любовь или ненависть. XX век выбрал ненависть».

■ В Варшаве прошли V Дни еврейской книги. На протяжении нескольких дней проходили спектакли, мастер-классы еврейской песни, каллиграфии и художественной вырезки из бумаги, но, конечно, прежде всего — встречи с авторами, чьи книги стояли на стендах. Одним из гостей этого праздника был посол Израиля в Польше проф. Шевах Вейс, большое интервью которого в записи Иоанны Шведовской, изданное отдельной книгой, стало бестселлером [фрагменты этого интервью см. в этом номере «Новой Пољши»]. Рецензент Павел Смоленский написал: «Воспоминания времен Катастрофы необыкновенно волнующи. Но столь же волнующи воспоминания Вейса времен спасения и надежды. (...) «Земля и тучи» — это еще и книга о возвращении. В родной украинский городок Борислав, в Польшу с ее трудностями периода преобразований, к языку, к польско-еврейским дружеским связям, но и к польскому антисемитизму. Книга, которую надо обдумывать, размышлять над ней, местами воистину поразительная».

■ В Колобжеге в третий раз состоялась «Хербертиада», всепольский обзор творчества Збигнева Херберта. В течение двух дней были показаны спектакли одного актера, проходило чтение стихов Херберта в исполнении профессионалов и любителей. «Символическое значение на этой «Хербертиаде» приобрел пустой стул на сцене, — написал Кшиштоф Маслонь в газете «Жечпосполита». — Это мероприятие (...) позволяет питать надежду, что поэзия Херберта не грозит то, что было бы для нее всего хуже и несправедливей, — забвение».

■ Легницкий литературный фестиваль «Порт Легница» — нечто удивительное и прямо-таки поразительное. «Легницкий фестиваль, — пишет рецензент, — напоминает коллаж. Шутки и развлечения перемежаются здесь с дискуссиями о литературе, новые медиа соседствуют с традиционными формами контакта автора с читателем. Однако ни на минуту не усомнишься в том, что самое главное тут — поэзия». Правда, организатор фестиваля Ар-



тур Буршта подчеркивает, что он задуман прежде всего для читателей, а поэт, приглашенный выступить на сцене в порту, должен представить свое творчество в такой привлекательной форме, чтобы читатель его «купил». Героем фестиваля этого года был Мартин Светлицкий, поэт, бард и художник-график.

■ Около ста жителей деревни Кролювка приняли участие в постановке идилии Казимежа Бродзинского «Веслав». Автор — поэт XIX века, современник романтиков, однако приверженец других литературных вкусов. Замысел жителей Кролювки победил на конкурсе Фонда им. Стефана Батория «Культура в деревне», цель которого — оживить культуру малых сельских местностей.

■ «Польско-русская война под бело-красным флагом» 19-летней Дороты Масловской из Вейхерова — новейший бестселлер польской литературы. «Это роман о молодых людях, — пишет рецензентка, — которые не нашли себе места в нашей стране и охотней всего уехали бы в Германию. Однако они остаются здесь и сидят на амфетамине. Кое-где книга Масловской многословна, кое-где запутана, хаотична. И все равно в ней есть сила. Эта сила — ее язык. Полный умышленных ошибок, перенасыщенный сленгом, ругательствами. В данном случае это — достоинство. Мало кто из писателей мог бы создать такой индивидуальный и характерный стиль».

■ Долго казалось, что 45-й фестиваль современной музыки «Варшавская осень» не состоится из-за нехватки средств. К счастью, их удалось найти. «В этом году были опровергнуты теории, согласно которым молодежь ищет прежде всего легко воспринимаемую музыку, — пишет Дорота Шварцман в «Политике». — Почти такими же горячими аплодисментам, как музыкальные юморески, молодежь встречала и поставангардистские сочинения». Героями «Варшавской осени» этого года были эстонский композитор Арво Пярт и недавно скончавшийся польский композитор Витольд Шаленек. Его «Симфония ритуалов» в исполнении Силезского квартета получила премию «Орфей», присуждаемую на «Варшавской осени» за лучшее исполнение сочинения польского композитора. На заключительном концерте фестиваля был впервые в Польше исполнен фортепьянный концерт Кшиштофа Пендеревского «Воскресение», принятый одной частью зала с громогласными восторгами, а другой — с не менее громким возмущением.

■ 70-летие выдающего композитора Войцеха Киляра, написавшего в частности музыку ко многим кинофильмам. Национальная филармония отметила юбилейным концертом. «Его музыка, — пишет рецензент газеты «Жечпосполита», — выдержала первое и главное испытание: она не растворилась в массе других современных сочинений».

■ В варшавском Центре современного искусства прошел фестиваль «Музыка мира» с участием польских и зарубежных ансамблей, соединяющих фольклор с современными электронными звучаниями. Самыми интересными группами на фестивале оказались британский музыкально-политический коллектив «Fun Da Mental» и русская группа «Farlanders».

■ «Миф и символ» — под таким лозунгом прошло в Познани 13-е Международное биеннале скульптуры. Больше всего премий и дипломов конкурса уехало в этом году во Францию.

■ На четырех стенах варшавского высотного Дворца культуры и науки были вывешены четыре огромных, чуть ли не самых больших в мире черно-белых снимка, анонсирующих открытую в дворцовом зале им. Стефана Киселевского выставку «Увеличение. Фотографии времен хаоса» — скромную, но необычную документацию нашей эпохи.

■ Одним из главных событий в польском изобразительном искусстве стала выставка Яцека Семполинского, живописца, преподавателя Варшавской академии изящных искусств, критика. В 60-е годы он писал натюрморты и пейзажи, в конце того же десятилетия перешел к абстракциям. Конец 70-х ознаменовался в его творчестве поворотом, который можно определить как метафизический, мистический. «Считаете ли вы провокацию необходимым элементом творческого акта?» — спрашивает его Дорота Ярецкая на страницах «Газеты выборчей». — «Я всегда не выносил авангард, — отвечает Семполинский. — В авангарде существует весьма насильственный и категорический элемент: устанавливается лишь одна возможность. Твердо говорят, что — искусство, а что не может быть искусством. Такого типа поучения мне чужды, поэтому не могу сказать, что провокация в искусстве обязательна. Ее может и не быть. Но у меня она должна быть». Выставка называется «A me stesso» («Для меня самого»).

■ «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи — главное, что привлекает на выставку «Леонардо да Винчи и блеск Польши. История собирательства и меценатства», открытой в Милуокском художественном музее (США) и представляющей шедевры живописи из польских музеев. Затем выставка совершит поездку по другим американским городам.

■ «Мерси, или Похождения Шипова», пьеса по повести Булата Окуджавы, поставленная в легницком Театре им Моджеевской, — один из самых интересных спектаклей нового театрального сезона в Польше. Историю о полицейских агентах, которые пытаются собрать улики на Льва Толстого, в переводе Витольда Домбровского, инсценированную Томашем Бурским и Яцеком Кондрацким, поставил Яцек Гломб.



■ «Гран-при» театрального фестиваля польских премьер, проходившего в Быдгоще, получил Марек Федор из театра в Ополе за инсценировку и постановку «Матери Иоанны от Ангелов» по Ярославу Ивашкевичу. «Похоже, — сказал член жюри фестиваля Збигнев Бжоза, — что показанные в Быдгоще премьеры в основном рассказывали о Польше, меньше — об остальном мире. (...) На фестивале оказалось, что почти каждая драма становится поводом, чтобы писать наши, поляков, портреты. Например, в показанных в Быдгоще пьесах русских драматургов (...) на самом-то деле нет России — есть польская современность, а режиссеры лишь использовали русский текст».

■ Крайне торжественно праздновали в варшавском Польском театре 90-летие замечательной актрисы Ирены Квятковской. Она принадлежит к самым популярным фигурам польской сцены и пользуется любовью публики. Дебютировала она в 1935 г. в кабаре «Варшавский цирюльник» и с тех пор не расстается с кабаре и сатирической сценой. С мыслью о ней Константы Ильдефонс Галчинский создал свою Герменегильду Кошобиинскую, которая затем прославилась в телевизионном «Кабаре двух пожилых джентльменов».

■ Министр культуры и искусства Вальдемар Домбровский, говоря о проекте реформы кинематографии, сказал: «Я всегда считал, что кинематографию нужно вывести из министерства. Ибо тут нужна профессиональная компетентность, а не чиновничье послушание. В распоряжении министра культуры должны остаться лишь два решения: кто будет директором Института киноискусства и какую часть госбюджета предназначить на кинематографию».

■ В Гдыне закончился Фестиваль польских художественных кинофильмов, сопровождавшийся дискуссией об условиях существования отечественной кинематографии. На фестивале был показан 21 фильм. Бесспорным победителем стала картина Марека Котерского «День Свира», современный рассказ о жизни польского интеллигента, разочарованного, не поспевающего за переменами в жизни. Специальная премия жюри досталась первому фильму Петра Тшаскальского «Эди», герой которого — человек из очереди за бесплатным супом, безработный неудачник с чистым сердцем и благородной душой.

■ На экраны вышел новый кинофильм Анджея Вайды — экранизация «Мести» Александра Фредро, одной из лучших польских пьес, премьера которой состоялась в 1834 г. во Львове. Картина вызвала у критиков смешанные отклики. Тадеуш Соболевский написал: «...это фильм переломанный, неровный, полный идей, тянущих в разные стороны. Да и могло ли быть иначе? Можно ли этот отличный театральный текст перевести на язык кино? Несмотря на более или менее удач-

ные постановочные концепции, на роли получше и похуже, мы в конце концов остаемся с текстом (...) в конечном счете побеждает гениальный Фредро со своими характерами, которые живы в наших традициях, памяти, языке, ожидая новых воплощений». Для полноты картины добавим, что в фильме замечательно сыграли Януш Гайос (Подчащего) и Роман Полянский — печального Папкина, полушута-полушляхтича, как характеризовал его сам Фредро.

■ «Нет сомнения, фильм сделан прекрасно, — написал Здислав Петрасик после польской премьеры «Неба» Тома Тыквера, поставленного по сценарию Кшиштофа Песевича и Кшиштофа Кеслёвского. — Том Тыквер остался верен сценарию, но на экране переписал его своим почерком. «Небо» напоминает, что существует альтернатива бездумной коммерции. (...) Зато неизвестно, какое кино снимал бы сегодня Кеслёвский и снимал ли бы он вообще. Одно ясно: нет кино Кеслёвского без Кеслёвского».

■ Ян Якуб Кольский приступил к работе над экранизацией «Порнографии» Витольда Гомбровича. «Я не думаю переносить на экран текст Гомбровича буквально, — сказал режиссер, — хочу через это произведение высказаться о современности. Лишь этот соблазн привел к тому, что я пожелал снимать этот фильм».

■ Показом фильма Сэма Мендеса «Пути к гибели» открылся 18-й Варшавский международный кинофестиваль. Во время фестиваля в столичных кинотеатрах были показаны 135 фильмов, еще не вышедших на польский экран; у большинства их еще нет польских прокатчиков, и надежды на то, что их можно будет увидеть, ничтожны. А в силу того, что фестиваль делает ставку на некоммерческое кино, в кинозалы шли толпы молодежи, жаждущие настоящего искусства. Директор фестиваля Стефан Лаудын позаботился о том, чтобы в октябре в варшавских кинотеатрах действительно было что посмотреть.

■ Группа друзей-краковян решила доказать, что в тяжелые для искусства времена можно снять дешевый и неглупый фильм. Так был снят скромный лирический кинодебют Артура Венцека «Ангел в Кракове» — комедия, затрагивающая вопросы покаяния и ответственности за грехи. В главной роли ангела Джордано снялся Кшиштоф Глобиш, который получил за нее премию публики на фестивале «Провинциалии-2002».

■ Кукольные короткометражные мультфильмы по «14 сказкам из королевства Лайлонии» Лешка Колаковского показывает 2-я программа польского телевидения. Эти мудрые притчи знаменитого философа уже были награждены многими международными премиями, прежде чем появиться на экране телевидения, для которого и были сняты.



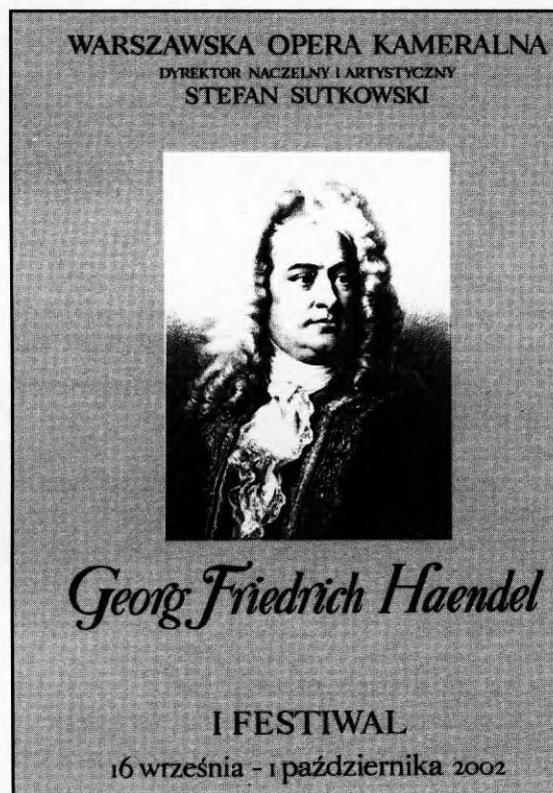
■ «Польша на первой полосе» — так называется большая выставка, открытая в здании «Газеты wyborчей» и демонстрирующая, каков был интерес к Польше в 80-е годы на страницах крупнейших американских газет. «Даже американские журналисты, авторы экспонирующихся здесь статей, с трудом могли поверить, что в то памятное десятилетие печаталось так много текстов о Польше, — пишет Эва Заджинская. — Темы с первой полосы становятся темами дня. (...) По тому же принципу возникают темы года. Темы, которые держатся на «первой» годами, — это темы десятилетия. Темой 80-х была Польша». Главный редактор «Газеты wyborчей» Адам Михник написал: «Я рассматривал эти фотографии как страницы семейного альбома. Польское десятилетие, т.е. время, когда важнейшие газеты писали о Польше на первых полосах, — это долгий путь борьбы за достоинство и свободу».

■ Почетные звания «Меценатов культуры» за 2001 год получили: проф. Анджей Станислав Цехановецкий, основатель фонда, который передал варшавскому Королевскому замку гуаши Александра Цадлера и Петра Норблина и картину Марчелло Баччарелли; фирма «Сименс» — за фонд стипендий для молодых музыкантов; Ежи Гумный и его «Art&BusinessClub» — за деятельность в целом; Польские сберегательные кассы Польского банка — за программу «ПСК ПБ — национальной культуре». В категории спонсоров победил «Кредит-банк» и его президент Станислав Пауцк, «Полькомтель» и его бывший президент Владислав Бартошевич, а в категории «опекунов» — «Газета wyborча».

■ На десять октябрьских дней центром Лодзи завладел Фестиваль диалога четырех культур. Лодзь до I Мировой войны создавали поляки, евреи, немцы и русские, к чему и обратились организаторы фестиваля. Несмотря на разнообразные оговорки (например, такую: можно ли говорить о диалоге между царским оккупантом, польским рабочим, немецким банкиром и еврейским фабрикантом?), одно не подлежит сомнению: культурные корни Лодзи богаты и многообразны. Их символизируют такие имена как Артур Рубинштейн, Юлиан Тувим, Владислав Стшеминский, Катажина Кобро, Карл Дедещиус. «Прошлого не воскресить, — сказал президент (мэр) Лодзи Кшиштоф Ягелло, — но мы обязаны делать выводы из собственной истории».

■ Прекрасный подарок сделала своим читателям редакция журнала «Творчество», дав в приложении к сентябрьскому номеру диск «Вещая птица Гамаюн» с циклом Шостаковича для сопрано, скрипки, виолончели и фортепьяно на стихи Александра Блока и его же циклом «Из еврейской народной поэзии». О мотивах, связанных с этой тематикой в русской поэзии, музыке и живописи, пишет на страницах этого номера Кшиштоф Билица.

Катажина К. Гарdziна I ВАРШАВСКИЙ ГЕНДЕЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ



Варшавская камерная опера (ВКО) приучила своих верных слушателей к показу спектаклей в рамках фестивалей. Самой большой известностью пользуется Моцартовский фестиваль, во время которого можно увидеть все сценические сочинения композитора. ВКО проводила также фестивали опер барокко (полтора десятка итальянских, английских, немецких и французских опер), оперных сочинений Клаудио Монтеверди, старопольских опер, Россиниевский фестиваль (восемь наименований). В сентябре этого года труппа ВКО впервые подготовила фестиваль, посвященный творчеству Георга-Фридриха Генделя.



Первая встреча ВКО с Генделем произошла еще в 1977 г., когда театр принял предложение Генделевского фестиваля в Геттингене поставить оперу «Ариадна на Крите». Режиссером спектакля была и по сей день работающая в ВКО Итка Стокальская, сценографом — Анджей Садовский, дирижировал предложенный фестивалем Юрген Юргенс из Гамбурга. После премьеры в Геттингене «Ариадну на Крите» показывали и в Варшаве, и за границей. Лишь в 1994 г. театр вновь обратился к Генделю и поставил его ораторию «Мессия». Оратория исполнялась как спектакль (в костюмах и с минимальной режиссурой) в церкви Варшавской семинарии.

Теперь ВКО восстанавливает «Мессию» в той же постановке, но в совершенно новой музыкальной обработке, ибо появилась возможность исполнить ораторию с ансамблем старинных инструментов «*Musicae Antiquae Collegium Varsoviense*». В 1994 г. ансамбль был слишком мал и не обладал полным набором инструментов. Теперь под управлением выдающегося исполнителя старинной музыки, дирижера и клавесиниста Владислава Кloseвича мы услышим «Мессию» в звучании, близком к тому, как она звучала в эпоху своего создания. ВКО трижды покажет спектакль в церкви, после чего пригласит зрителей в свое здание, где будут идти оперы «Ринальдо» и «Именео».

«Ринальдо» — опера, которая принесла композитору большой успех в 1711 г. в Лондоне. Сейчас это одна из самых знаменитых и чаще всего исполняемых опер Генделя — в последние годы ей прибавило популярности использование арии Альмирины «*Lascia ch'io pianga*» («Позволь мне плакать») в кинофильме «Фаринелли». Премьера варшавского спектакля «Ринальдо» состоялась в 2000 г., во время празднования 400-летия оперного жанра. Зрители и критики были согласны друг с другом в восторженной оценке исполнения роли Ринальдо меццо-сопрано Анной Радзеевской (партия Ринальдо была написана для кастрата) и в том, что Ольга Пасечник в партии Альмирины достигла высот вокального искусства. До-

статочно сказать, что во время исполнения вышеозначенной знаменитой арии музыкальные критики так расчувствовались, что плакали. Обе певицы выступают в своих партиях и в этом году.

Опера «Именео», сочинение 1740 г., не встречается в оперном репертуаре, даже генделевском, ибо ее премьера в Лондоне в 1740 г. потерпела провал. Несправедливо забытая опера вновь увидела свет в 1998 г. в Варшаве. И здесь главную женскую роль создала Ольга Пасечник, а ее партнерами были лучшие солисты ВКО, в том числе контртенор-сопрано Яцек Лащковский. Обе оперы идут под управлением Владислава Кloseвича в сопровождении ансамбля старинных инструментов.

Фестиваль завершится концертом инструментальных сочинений Генделя. В Большом зале варшавского Королевского замка будут исполнены четыре концерти-гросси и сюита «Музыка на воде». Любители старинной музыки получают не такую уж частую возможность слушать сочинения Генделя в историческом — или, как предпочитают выражаться другие специалисты, аутентичном — исполнении.

«Почему мы выбрали Генделя? — говорит директор ВКО Стефан Сутковский. — Его творчество, как оперное, так и концертное, невероятно богато и крайне интересно для нас с точки зрения программы, исполнительства и, главное, уровня этих сочинений. Думаю, что если через два года мы проведем второй фестиваль, то пригласим всех вас на новый спектакль, а уж если не на спектакль (посмотрим, как сложатся дела с финансами), то на новое исполнение какой-либо из ораторий Генделя в храме».

Можно сказать, что ВКО балует любителей старинной музыки. Театр начал цикл концертов «Шедевры польской барочной музыки». Пока что вместе с Королевским замком подготовлены четыре концерта: первый состоялся 10 сентября, следующие — в октябре-ноябре. Цикл дал возможность услышать малоизвестные или совершенно неизвестные сочинения таких композиторов, как Станислав Сильвестр Шажинский, Гжегож Гервазий Горчицкий и Мартин Юзеф Жебровский.

Михал Земанский о польской
предпринимчивости

ВБЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

К.Я.Гослицкий о Станиславе Бжозовском

К.Бурнетко: Газетный киоск

Л.Бальцерович о будущем Европы

М.Клецель: Лукасинский в Шлиссельбурге

Р.Пшибыльский об Иосифе Бродском и Анне Ахматовой

Я.Стшалка беседует с Анджеем Вайдой

К.Яновская и П.Мухарский: Беседы к началу столетия

Наши люди: Яцек Возняковский, ^{Хуа Штеинхауз} ~~Иренеун Кани~~, Леопольд Козловский, Владислав
Жопаликский

Наши за границей: А.Северин, В.Пшоняк, З.Рыбчинский, А.Холланд,

В.Скальмовский, Р.Полянский, А.Кшивицкий и др.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского, Подсядло и др.

Титкова,

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой,

Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»

Допущен к распространению на территории Российской Федерации
решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации ПИ № 77-1063 от 3 ноября 1999 года)



НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

СЛЕДУЮЩИЕ ЖУРНАЛЫ:

Dialog

Ежемесячник, посвященный современной драматургии.

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник для читателей, библиофилов, библиотечных работников и издателей. В каждом номере обзор новостей, рецензии, статьи о издательском деле, анонсы, библиографии.



НОВАЯ ПОЛЬША

Ежемесячник о Польше на русском языке. Публицистика, политика, вопросы экономики и культуры, обзор литературной и научной жизни страны.

twórczość

Самый долговечный и заслуженный польский литературный ежемесячник, посвященный современной прозе, поэзии и культурной публицистике. Журнал активно участвует в культурной жизни Польши.

ruch muzyczny

Единственный в Польше журнал о музыке, ее теории и практике. Выходит раз в две недели.

L I T E R A T U R A na świecie

Известнейший ежемесячник содержащий обзор произведений иностранных авторов.

Biblioteka Narodowa. Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich,
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213, tel./fax (+48 22) 6082488, tel. (+48 22) 6082374

Цена 6 zł w tym VAT 0%